

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 41

1990



*Григорий СВИРСКИЙ*

**БАШКИРСКИЙ  
МЕД**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 41

Издается с января 1925 года

Григорий СВИРСКИЙ

# БАШКИРСКИЙ МЕД

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1990

## Григорий СВИРСКИЙ

Большой зал Центрального Дома литераторов был переполнен. Шло собрание московских писателей. Не совсем обычное собрание. В президиуме сидел важный гость: секретарь ЦК КПСС. Поговаривали, что он, может быть, даже будет выступать. Ораторов поэтому слушали не очень внимательно. Все ждали выступления секретаря ЦК. Гадали: выступит? Не выступит? И если выступит, что скажет? От того, что он скажет, как тогда казалось, зависело многое...

И вот наконец настал этот волнующий миг. Председательствующий в мгновенно наступившей тишине торжественно начал:

— Слово предоставляется секретарю Центрального Комитета...

И тут произошло непредвиденное.

У края сцены появился коренастый широкоплечий человек с буйной шевелюрой. Он что-то возмущенно говорил, обращаясь к президиуму. Слышно было плохо, но сидящие впереди услышали и передали по рядам:

— Свирский. Требуется, чтобы ему дали слово... Говорит: почему дали ему, а не мне... Я, говорит, раньше послал записку...

— Дать!.. Дать!.. — закричали из зала.

Секретарь ЦК, уже идущий к трибуне, в растерянности остановился. Председательствующий, потеряв от страха голову, предложил поставить вопрос на голосование.

Неизвестно, чем кончилось бы это голосование, но тут у края сцены появилась еще одна фигура, на сей раз женская.

Фазиль Искандер в своем романе «Сандро из Чегема» поделил население нашей страны на две категории: «работающих» и «присматривающих».

Эта была из «присматривающих».

— Товарищи! — взволнованно заговорила она. — Я считаю в высшей степени бестактным ставить вопрос на голосование, по-

сле того как было объявлено, что слово предоставляется секретарю Центрального Комитета нашей партии...

Зал шумно выдохнул:

— У-у!..

Выдох этот был таким единодушным и мощным, что «присматривающую» словно ветром сдуло.

Секретарь ЦК, сориентировавшись в этой непривычной для него обстановке, сделал рукой широкий приглашающий жест, и Григорий Свицкий под аплодисменты зала поднялся на сцену, прошагал к трибуне и утвердился на ней.

Я не стану пересказывать его речь, тем более что она уже опубликована, правда, с опозданием ровно на четверть века. (Журнал «Горизонт», № 3, 1990.) Приведу из нее только небольшой отрывок:

«...Как-то шли по Осетии с группой альпинистов и туристов. В одном из селений подошел к нам старик и сказал: мы приглашаем вас на свадьбу. Вся деревня будет гулять; а ты, показал он на меня, не приходи. И вот я остался сторожить вещи группы. Сажу читаю книжку и вдруг вижу: улица селения в пыли, словно конница Буденного мчится, меня хватают и тащат. Жених и невеста кричат: «Извини, дорогой!» — меня притаскивают на свадьбу, наливают осетинскую водку арака в огромный рог и вливают в меня. Я спрашиваю моего друга, что произошло? Почему они меня раньше не пригласили, а сейчас потчуют как самого дорогого гостя? Оказывается, мой друг спросил несколько ранее старика, и тот объяснил гордо: «Мы грузинов не приглашаем!» Мой друг сказал, что я не грузин. Тогда старик закричал, что только что кровно оскорбил человека и он, этот человек, будет мстить. И вот вся свадьба, чтобы не было мести, сорвалась и — за мной... На другой день старик приходил узнать, простил ли я ему то, что он принял меня за грузина...

Когда кончился маршрут, мы спустились в Тбилиси. Вечером вышли гулять. Подходят два подвыпивших гражданина и что-то говорят по-грузински. Я не понимаю. Тогда один размахивается и бьет меня в ухо. Я падаю. Кто-то в подъезде гостиницы кричит: «Наших бьют!» — альпинисты высказывают из гостиницы, и начинается потасовка.

И вот мы в милиции. Идет разговор по-грузински. И вдруг бывший меня кидается к моему паспорту, лежащему на столе, изучает его и идет ко мне, говоря: «Извини меня, мы думали, что ты армяшка, из Еревана. Идем, будем гулять». Я едва от них отбился.

В нашей группе альпинистов половина была из Прибалтики. Они прекрасные спортсмены. После того как все это произошло, мы сблизились. Но когда они о чем-то говорили и мы подходи-

ли — они замолкали, а когда я спросил, в чем дело? — мне ответили: «Ты же русский».

Когда я приехал в Москву, узнал, что меня не утвердили в должности члена редколлегии литературного журнала, потому что я еврей...»

Как видите, история была лаконичная, но емкая. Она правильно представила неприглядную картину уже тогда сложившихся болезненных межнациональных отношений, тщательно прикрываемую парадными лозунгами о вечной и нерушимой дружбе народов нашей страны. В той речи Свирский впервые сказал вслух о черносотенцах, состоявших в рядах членов Союза писателей. Количество их он, впрочем, преуменьшил, дипломатично заметив, что «черной сотни» среди «инженеров человеческих душ», быть может, и не наберется, но «черная десятка», безусловно, имеется.

Речь Свирского неоднократно прерывалась аплодисментами. Одобрительно отзывались о ней и секретарь ЦК, выступивший следом. Он полностью присоединился ко всем основным положениям этой речи и даже назвал антисемитизм гнусным и отвратительным пережитком капитализма в сознании людей.

Однако, несмотря на «хэппи энд», именно с этой речи начались все последующие неприятности Григория Свирского. Сперва от него требовали, чтобы он отрекся от своих слов как от клеветнических... Потом исключили из партии... Потом перестали печатать... Потом... Короче говоря, потом вышло так, что он оказался в Канаде, где проживает в настоящее время.

Больное общество наше не желало ничего знать, даже слушать не хотело о своих болезнях. А между тем если бы то, о чем сказал тогда Свирский, было услышано, болезни эти, быть может, не приняли бы такую тяжелую, злокачественную форму.

Сегодня никому уже в голову не придет говорить о «черной десятке». Жизнь показала, что нынче счет идет уже не на десятки, даже не на сотни, а на тысячи.

Но сегодня, слава тебе Господи, мы уже не молчим. Сейчас у нас гласность, и мы больше не скрываем своих болезней, какими бы страшными они ни были. Вот совсем недавно в тех самых стенах, где выступал со своей речью Григорий Свирский, прозвучали прямые призывы к погрому. В прежние времена, если бы случилось такое, об этом знали бы только те, кому выпала не слишком приятная участь при том присутствовать. А сегодня инцидент получил широкую огласку. О случившемся с негодованием писали «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Литературная газета», «Огонек». Несколько гневных слов по этому поводу даже прозвучало с трибуны февральского Пленума ЦК.

Однако даже и сегодня публичное обсуждение этих деликатных проблем кое-кому не по душе. Это ясно видно из заметки, оза-

главленной «В КГБ СССР» («Известия», 9 февраля 1990), в которой упомянутые выше выступления печати были оценены следующим образом:

«...Важно, чтобы средства массовой информации более взвешенно подходили к освещению столь чувствительных вопросов и не тиражировали непроверенные сведения, ибо призывы к насилию по одному поводу провоцируют призывы к насилию по любому другому». Обращения к правоохранительным органам с призывом обуздать погромщиков, таким образом, рассматриваются как «призывы к насилию», ничем, в сущности, не отличающиеся от призывов к погрому.

Вот так!

Оказывается, даже и сейчас, когда болезнь выявилась во всей своей злокачественности, есть силы — и весьма влиятельные, — не только не желающие ее лечить, но по-прежнему боящиеся даже ее назвать.

Прочитав рассказы Григория Свицкого, вошедшие в эту книжку, вы сразу поймете, почему они не могли быть опубликованы в то время, когда были написаны.

Кто-нибудь по этому поводу, может быть, скажет: «А не пора ли уж нам перестать радоваться, что мы можем наконец говорить вслух обо всех наших бедах? Какой в этом толк, если жизнь в основе своей с тех пор не больно-то переменялась!»

Да, жизнь пока что мало переменялась. В чем-то, может быть, стала даже еще труднее. И тем не менее не стоит все-таки преуменьшать значение тех перемен, которые сделали возможным возвращение к читателю этих обнаженно правдивых историй, некогда записанных автором по горячим следам только что увиденного, прочувствованного, пережитого. Ведь для того, чтобы начать лечить даже самую тяжелую болезнь, необходимо сперва перестать себя обманывать, признать, что болезнь существует, осознать ее опасность.

Бенедикт САРНОВ

## ЛЁВА СОЙФЕРТ, ДРУГ НАРОДА...

Я был опальным вот уже шестой год. В издательстве «Советский писатель» мне шепнули, что в черном списке, присланном «сверху», моя фамилия — на первой странице.

Это была большая честь.

Но есть было нечего. Рукописи возвращались, как перелетные птицы. Покочают и вернутся. Когда мне позвонили из Средней Азии, из журнала, о существовании которого никто, за редчайшим исключением, и понятия не имел, и сказали: «к сожалению...» — я понял, что меня обложили, как волка.

Я протестовал. Писал «наверх»... Мне казалось, что я пишу на кладбище. Ни ответа, ни привета.

Приговор обжалованию не подлежал.

— Осталось одно, — сказал друг нашей семьи, мудрый и печальный Александр Бек, — заняться сапожным ремеслом... как Короленко. Короленко вырезал стельки. В пику Ленину и Луначарскому... А модельными туфлями даже прославился... Что, если повторить опыт?

То ли эти разговоры дошли до инстанций, то ли мне были предначертаны лишь пять лет строгой изоляции от читателя, но меня вдруг вызвали в Секретариат Союза писателей, усадили, как в лучшие годы, в кожаное кресло и предложили поехать на Крайний Север. В творческую командировку. На месяц — три — шесть — год, сколько потребуется, чтобы «создать новую жизнеутверждающую книгу...»

... — Ни в коем... кашка, случает! — прокричал Бек, встретив меня возле дома. Когда он был расстроен или испуган, он почти после каждой фразы добавлял эту свою «кашку». Вместо брани, что ли? Или что-то задержаться на пустом слове и — подумать?.. В последние годы Александра Бека уж иначе и не называли: «Кашка» сказал, «Кашка» не советует...

— Не уезжай из Москвы... кашка, — убьют!.. Что? Затем и посылают... Подкараулят и — по голове водопроводной трубой... Тихо!

На аэродроме он шептал со страстью приговоренного:

— Гриша, ты их не знаешь! Они способны на все. Я их боюсь! Честно говорю, смертельно боюсь!..



Я глядел на морщинистое доброе детски-губастое лицо Александра Бека и думал о проклятом времени, которое могло довести до такого состояния мудрого и бесстрашного когда-то человека, писателя милостью Божией.

...И вот я сижу перед узкоглазым, с оплывшим желтым лицом, первым секретарем, хозяином самого северного полуострова на земле, где издавна жили целых три народности: эвенки, венки<sup>1</sup> и ээки<sup>2</sup>. И тот читает письмо Союза писателей, где сообщается, что я командирован писать жизнеутверждающий роман.

Он подымает на меня глаза. В них — тусклое безразличие.

— Жизнеутверждающий, — басит он. — Это крайне важно сейчас! Спасибо, что приехали. К нам писатели попадают редко. Очень актуально — жизнеутверждающий.

— Да! — восклицаю я.

Мне и в самом деле хочется написать жизнеутверждающий. Надоело быть опальным и нищим. Хватит!

У Первого отвисает в улыбке губа, и он советует мне поехать на химический комбинат, затем к геологам, открывшим столько газа, что хватит всей Европе. Первый подымает телефонную трубку и вяло роняет:

— Сойферта!

Сойферта?! Странно!.. Я ни разу не слышал другого имени здесь, выше семидесятой параллели, где кривые полярные березы прижаты к мерзлым камням, где даже олений ягель прячется в расщелины скал, искрошенных морским ураганом. Возле газопровода, змеившегося по болотистой тундре, рабочий размахивал шапкой: «Насос встал! Беги в Лёве Сойферту!» В холодном, как амбар, магазине старушка грозилась отнести заплесневелый каравай «на зубок» Лёве Сойферту: «Он вас прикусит, шалавых!»

... — Сойферт! — забасил Первый. — К нам прибыл из Москвы писатель Свирский.

— Свирский умер! — слышится в трубке категорический ответ.

— Да нет, вроде, жив, — роняет Первый растерянно.

— Не может быть! — гудит трубка. — Наверное, это проходимец какой-то!..

— Товарищ Сойферт! — обрывает его Первый, становясь серьезным и косясь на мои документы (он снова берет в руки письмо Союза писателей на официальном бланке, прищурясь, деловито, профессионально оглядывает подписи, штамп, дату). И басит в трубку тяжело и непрерываемо:

— Значит, так! Принять! Создать настроение!.. Стать писателю, как говорится в литературе, надежей и опорой!.. О дальнейшем сообщу!..

---

<sup>1</sup> Военнопленные.

<sup>2</sup> Заключенные.

«Надежа и опора» оказалась старым прихрамывающим евреем с обвисшими штанами из синей парусины, которые он то и дело подтягивал машинальным жестом. Плохо выбритый, задерганный, с вдавленной, как у боксеров, переносицей, растрепанно-белоголовый, он походил на сибирскую лайку, впряженную в нарты. Нарты не по силам, и лайка дергается, напрягается, пытается сдвинуть с места тяжесть...

Меня попросили подождать.

То и дело звонил телефон. Лёва Сойферт бросался к нему, роняя в зависимости от сообщения: «Угу», «Не вылети на повороте!» или «Дело — говно! Будем разгребать!» И снова возвращался к бумагам, не присаживаясь, кидая их худому кашляющему человеку в пенсне и черном прожженном халате; тот брал их медлительно-царственными жестами пухлых, породистых рук.

Чтобы не мешать, я отступил к приоткрытым дверям, на которых было начертано почти славянской вязью под синеватым стеклом: «Заместитель управляющего комбинатом Л. А. Сойферт».

Мимо меня прошелестел высокий обрюзгший человек с буденновскими холеными усами почти до ушей, и в мягких, как комнатные туфли, ботинках на опухших ногах. На него не обратили внимания. Он нетерпеливо шаркнул по дощатому полу ботинком-тапочкой.

Сойферт оглянулся, и вошедший просипел, что начальника поисковой партии он на должности не утвердит. Не тот человек...

Сойферт нервно поерошил ладонью мохнатые белые щеки и, глядя снизу вверх на буденновские усы, сказал невесело и спокойно:

— А ты как стоял пятнадцать лет за нашей дверью, у вонючей параша, там и стой! И не подсматривай в глазок!..

Лицо вошедшего не изменилось. Только красный кулак его, державший бумагу, напрягся, как для удара. Да шаркнул нервно ботинок-тапочка.

Тогда второй, в пенсне и прожженном в клочья халате, повернулся и сказал неторопливо-добродушно, грассируя:

— Догой Пилипенко! Совегшенно нецелесообразно так болезненно геагиговать на...

Вошедший повернулся, как в строю, кру-гом! — и неслышно удалился.

Я заинтересовался странными, во всяком случае необычными, отношениями руководителей...

— Необычными? — удивленно протянул Сойферт, когда мы вышли с ним из управления. Он мотался при ходьбе, как полярные деревья в ураган, почти до земли припадал, передвижение стоило ему столько усилий, что я почувствовал неловкость и остановился. Однако остановить Лёву Сойферта оказалось невозможным. — Необычным. Хо! — Он был уже далеко впереди. — В нашем городе необычно только кладбище. Известняк третичного периода. Последнего бродягу замуровываем, как фараона. А что поделаешь? Кому хочется лежать в болоте?.. Куда я вас

веду? На химкомбинат — гордость второй пятилетки... Вы писатель Свирский? Таки-да?.. Слушайте, мне вы можете сказать... Я беспартийный большевик!.. Я был Штоком и Куперштоком. Теперь я Сойферт! Ох-хо-хо! — Он показал рукой на серебристые газгольдеры и начал забрасывать меня победными цифрами. Я остановил его. Спросил, сколько здесь погибло людей? На его глазах. Начиная с тридцать седьмого... И почему рабочие бегут отсюда? Больше трети в год. Как на Братской ГЭС.

Он умолк и, поглядев на меня пристально и качнувшись из стороны в сторону, спросил недоуменно:

— Вам, что... таки-да, как есть? Без туфты?.. Без туфты и аммонала не построишь канала... Вы, может, бездетный? Растет сын, да?.. — У него как-то опустились плечи, словно я его нокаутировал и он сейчас рухнет на землю. Но это продолжалось секунду, не более. А?.. Ну, как хотите! — Без туфты, так без туфты!..

— Вы давно работаете вместе? — перебил я его. — Вы — трое. Вы, тот — в пенсне, с дворянскими руками — и ... буденновец?

— Тридцать лет, — выдал он нехотя, словно это его порчило. — Тридцать лет вместе. Работаем в одном учреждении. Таки-да!.. Сперва в одном, теперь в другом... Как работаем? Душа в душу. Вы же слышали?..

Слышать-то слышал, но...

Чего только не увидишь в неохраняемой болотистой тюрьме, из которой бегут и бегут! Какими узлами ни вязала людей бывшая каторга! Но чтоб так?.. С собственным надзирателем? В одном городе. В одном управлении. Вокруг одних и тех же дел, бумаг, споров.. Какой-то психологический парадокс! Неужели свыклись с тюрьмой настолько, что она для них... не тюрьма? Благо ворота открыли... Пятнадцать лет под замком и еще пятнадцать... на сверхсрочной?.. Бред! Извращение психики! Ведь здесь все, любой камень, напоминает о страшных днях. О сыром карцере. О том, как давили танками восставших заключенных. Да ведь здесь вся земля пропитана кровью. Под каждым газгольдером — братская могила...

Я попросил Сойферта рассказать мне о каждом из их «троицы».

— Зачем это вам? — встрепенулся он. — Вы же приехали за положительными эмоциями?.. Положительными, не дурите мне голову. Я читаю журналы. Вижу, что надо, и как это делается... А, поговорим об этом за пивком!..

Она была за поворотом, круглая, как шатер завоевателя, брезентовая палатка с надписью на фанерке: «ГОЛУБОЙ ДУНАЙ».

Интересно, и в Воркуте сто грамм «с прицепом» называются «ГОЛУБОЙ ДУНАЙ». И в Ухте, и в Норильске, и в Нарьян-Маре. Занесло меня в богомольный Енисейск — и там, возле монастыря, «ГОЛУБОЙ ДУНАЙ».

Пригланулся, значит, северянам ГОЛУБОЙ ДУНАЙ!

Мы глубокомысленно и коллективно исследовали эту тему, стоя в очереди за пивом, которое разливали в длинные, как колбасы, пластиковые мешки. Кто брал по два мешка, кто — по пять. Унесли и мы свое, расположились в углу, приладив раздутые мешки где-то у плеча, похожие на шотландцев, играющих на волынках.

Лёва Сойферт оглядел меня внимательно:

— Я терпеть не могу теорий. Но — можно одну каплю? Здесь театров нет. Кино — говорить не хочется. Остается что? Читать! Возьмем для примера, моего любимого поэта Евтушенко. В уважаемом «Новом мире» — уже без Твардовского — напечатана его поэма «Казанский Университет». — Лева Сойферт принялся вдруг размахивать мешком, из которого плескалось пиво, и декламировать хрипловато-тоненько, под брызги:

Даже дворничиха Парашка  
армянину кричит: «Эй, армяшка!»  
Даже драная шлюха визжит  
на седого еврея: «Жид!..» — Таки-да!» —  
Даже вшивенький мужичишка  
на поляка бурчит: «Полячишка!»  
Бедняков, доведенных до скотства,  
научает и власть, и кабак  
чувству собственного превосходства:  
«Я босая, ну а все же русак!..»

— Ну? — сказал Лёва Сойферт, обеда взглядом соседей в кепочках, переставших заглатывать пиво, притихших. И вполголоса, теперь уж только для меня:

— Такие строчки пронести на люди? Сквозь охрану?.. Так ведь это только в параше можно! В куче дерьма! Не станут рыться... Спихнутся, да поздно... Ну что? Удалось Евтушенко?.. Как я понимаю, это и есть метод социалистического реализма. Жемчужное зерно в параше!.. Параша? Вся поэма! Доверху параша!.. Но... «навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно». Так вам, коль вы действительно писатель из Москвы и хотите через год-два подарить нам свою книгу, так вам же надо тоже наворотить кучу благородного навоза, чтобы зарыть в нем свое жемчужное зерно...

Я молчал, удрученный, и Сойферт вдруг заговорил гладко, вдохновенно — так, наверное, ораторствовал на митингах, от которых не мог отвертеться. Наораторствовал на добрый очерк для софроновского «Огонька», настоял, чтобы я правильно записал все цифры и фамилии, закончил печально и устало:

— Ну вот, теперь у вас есть куда зарыть свое жемчужное зерно...

Вдали появился Пилипенко с буденновскими усами, держа огромный чайник. Видно, тоже за пивом. Увидел Сойферта и тут же пропал.

Точно под землю провалился... Я подумал, что это, наверное, не по-человечески — столько лет шпынять его. Ведь он мог уехать. Забиться в медвежий угол, где о нем никто бы не знал, не ведал... А этот остался, значит, особой вины за ним нет...

— Не по-человечески, — согласился Сойферт, выслушав меня. — Разве мы люди?! Каждый — геологическая катастрофа... — Он долго раскачивался впереди и вдруг круто обернулся:

— Слушайте, я заинтересован в том, чтобы о нас, забытых Богом и людьми, вышла в Москве книжка. Поверьте мне, вам недостает рабочего настроения.

— Правды недостает! — ответил я и помедлил. — ... которую вы скрываете, как будто вам за это платят.

— Правды?! — вскричал уязвленный Сойферт. — Нате вам правду!.. Я — одесский вор. В лагерях говорили «друг народа». Мой сокамерник Сидор Петрович, «Сейдер», тот, что в пенсне, — «враг народа». А буденновец Пилипенко — наш бывший начальник режима, убийца! Зверь! Ныне завкадрами... На что вам эта правда?! Ее в Москве собаками затравят... Что? Почему не развезжаемся? Сцепились с убийцей, как в припадке?.. Что такое?! — перебил он самого себя. — Опять мы... не туда!.. Знаете что? Полетели... — в баню!.. Через час вертолеты уйдут по партиям. С фруктами. Вагон пришел. Половина яблок погнила. Если за ночь их по тундре вертолетами не разбросать, прости-прощай, утром придурки разберут... У буровиков, вот где положительных эмоций! Ведрами черпай! А утром надо. Не вздумайте отказываться. Ныне банный день.

В баню мы летели на крошечном целлулоидно-стрекозином вертолете МИ-1, который летчики называют «двухместным унитазом». Под скамеечкой стояли яблоки — антоновка и золотой ранет, — наполняя казину пряным, с гнильцой, ароматом южных садов.

А внизу зеленела тундра в слепых блестках озер, от которых резало глаза. Земля остывала, как металл, вынутый из горна. В цветах побежалости.

За спиной бился мотор, увлекая нас вдоль просеки, прямой, как стрела указующая...

Если бы на воздушном шаре! Тишина. Воля...

«Тишина, лучшее, что слышал...» — мелькнуло пастернаковское... Он раньше многих понял, чего недостает людям.

Наконец, зачернел вдали дым, притянувший наш вертолет, как ласко...

Под баню приспособили деревенский сруб из «листвяка» — огромных бревен сибирской лиственницы. Такие удержат тепло даже в пургу.

Сруб стоял на санных полозьях, оцинкованных железом. Бревна были старые, полозья ржавые, видно, баня перешла по наследству от лагерьей, как бараки в Воркуте. И точно. Внутри, на бревнах, вырезано ножом, нацарапано гвоздями столько лагерной матерщины и отчаянных, перед этапами, просьб, угроз, заклинаний, что я зачитался.

Ночь была прозрачно-холодной, как газировка со льда; дверь раздевалки не закрывалась, и я вряд ли стал бы раздеваться, если бы Сойферт не стегнул меня веником из крапивы:

— Давай-давай!

И тут же ковыльнул в сторону, вскричав победно:

— Ага! На ловца и зверь бежит!..

«Зверь» был здоровущим парнем с флотскими наколками на волосатых руках. Сойферт сообщил мне, что это самый знаменитый бурмастер на всем Севере Вася — знаток глубинного бурения. Под судом и следствием не был... — зачастил Сойферт, — короче, родился для вашей книги. В «Правде» о нем писали.

Вася начал стягивать с себя одежду, поинтересовавшись с усмешкой:

— Писать будете, как мы в землю зарываемся?..

— Ну, вы пообщайтесь, я парку нагоню! — дружелюбно крикнул Сойферт и исчез в бане.

— Из самой Москвы, однако? — переспросил парень. — Ла-ады! Объясните мне в таком случае, как же так, землю продают нашу? Оптом... Мы, вот, забурились на шесть тысяч, газ нашли, а потом узнаем, что все это заранее продано. И кому? Немцам, которые отца моего убили. Они нам — трубы, мы им — газ... Жизнь-то, оказывается, стерва!.. Все народное достояние продают. На корню. Немцам, и потом, говорят, американцам, макаронникам всяким. Получается, отдай жену дяде. Или мы не Россия, а черножопые какие?.. Жизнь-то, вот, стерва! — повторил он и сплюнул зло; стал выбирать веники. Высмотрел самые большие крапивные листья, протянул мечтательно: — Пихтовых веников бы!.. Э-эх, нету гербовой, напишем на простой...

Дверь из бани распахнулась, оттуда рвануло горячим паром. Выскочил огненно-красный костлявый Лёва Сойферт. Присел на корточки, обхватив колени и тяжело дыша.

— Ну, власть, — пробасил Вася покровительственно. — Сварилась вкрутую? Эх, всех бы вас в один котел!..

Сойферт распрямился пружиной, поглядел вслед ему недоуменно и еще раз огрел меня веником из крапивы.

— Коммунисты, вперед!

На железной печке kloкотала вода в детской ванночке. Пахло распаренной хвоей и чем-то отвратным. Денатуратом, что ли?

Печка с засыпкой, впервые такую видел. Обычная бочка из-под бензина, обитая еще раз железными листами. Между листами и бочкой доверху галька, крупный песок. Не иначе, лагерный патент. Железная бочка, а тепло держит, как русская печь.

Сойферт плеснул на гальку кипятку, шибануло паром так, что я отскочил к противоположному концу бани.

— Ох, пихтовых бы веников! — простонали сверху.

Но пихтовых не было. Мы распарили те, что были. Из крапивы. Колочки стали мягонькими. Не обстрекали тело.

Лёва Сойферт хлестнул меня крапивой наотмашь. По спине. По ногам. Задохнулся.

— Жеребцы! — Он едва перевел дух. — А ну, поддайте московскому пару. Чтoб помнил буровиков.

«Жеребцы» толпились вокруг детской ванночки, черпая оттуда кипяток и весело матерясь. Рослые, с бугристыми мускулами, в наколках — возле детской ванночки. Зрелище это было смешное, и сами они смеялись — над ванночкой, друг над другом, по любому поводу. Кто-то поскользнулся на мыле, шмякнулся, тут уж гогот начался такой, казалось, сруб развалится... Чувствовалось, баня для них — и театр, и клуб, и гулянье. Громче всех сипел от хохота, суча ногами, буровик, мой знакомый, словно это не он только что говорил мне безнадежно: «Жизнь-то, получается, стерва!»...

Когда снова плеснули на гальку, я рванулся в холодную пристройку ошалело. Впрочем, не я один. Только Сойферт остался на полке, неостановимо, как заведенный, хлеща себя веником из разбухшей крапивы.

— Хо-о! — протянул он блаженно, выбравшись на ощупь в предбанник. — Банька, таки-да-а!.. Есть морс, рекордсмены?..

Клюквенный морс охлаждался на улице, под лестницей. В огромном чайнике. Запарившиеся огненно-красные парни тянули его из носика, чуть «отходили» и снова ныряли в парилку.

Оттуда слышались взрывы хохота. Сойферт поглядел в сторону парилки, небритое лицо его стало напряженно-несчастливым, он встрепетнулся, скзал устало и печально:

— В здоровом теле — здоровый дух! А? Надо им крабов подбросить. Пришли вчера по спецзаявке. Ничего, начальство обойдется...

Он долго тянул из носика чайника клюквенный морс.

— Не верите, не выжил бы, если б сюда не подавался, — произнес он, поставив чайник на пол. — Напарисься... неделю живешь. Надо им еще курей выделить... из обкомовского фонда. Ох, воздуху мне не хватает!.. — И вдруг посмотрел на меня отчужденно, словно принял меня за кого-то близкого, поверил, а... что я за птица?.. Что напишу потом?.. — Аммиак, — выдавил из себя Лёва Сойферт. — Сплошной аммиак... на заводе. Запашок!.. Люблю тундру...

Из парилки выскочили в клубах пара ребята, один из них закричал радостно:

— Тутa еще!

Тогда повалили один за другим остальные, один, совсем молоденький, беззубый, просил Сойферта написать в их деревню, в сельсовет, чтобы матери крышу покрыли. Одна она, а дожди пошли.

Другой, постарше, не знал, как пристроить в ясли дите.

Сойферт достал мятый блокнотик, записал.

— Через неделю ответ, — сказал. — С доставкой на дом...

Заулыбались, потянулись к нему — я увидел, нет ничего необычного в том, что здесь, у моря Лаптевых, редко произносят известные в России

имена, допустим Брежнева, Косыгина, желтолицего хозяина полуострова, наконец! Одно имя чаще всего звучит над болотистой или ледяной тундрой: «Лёва Сойферт» — «Товарищ Сойферт!»

— Товарищ Сойферт! — прохрипел вслед нам буровик, когда мы на другой день шли к вертолету. — Пришлите долота! Алмазные!.. — Догнал нас, дыхнул в лицо перегаром. — Долота, говорю! Алмазные!.. — и вдруг тихо, со спокойной яростью: — Вроемся, что ли, глубже, проданные?!

Я вернулся к буровикам через неделю, был в этих краях все лето, летал в Норильск, в Игарку, на спасение заблудившихся в тундре геологов, трясся на вездеходах, рубил просеки, заполнил все свои черные от раздавленной мошки блокноты, а когда снова попал в городок газовиков, меня встретил на аэродроме Лёва Сойферт.

— Ну, как с положительными эмоциями? — прокричал он снизу.

Я показал рукой где-то выше головы...

— Едем ко мне! Отпразднуем завершение дальнего похода. Только вначале к Сейдеру. Он болен, хочет повидаться.

Нас мчал дребезжащий болотоход на багровых от глины шинах, раздутых, точно от укусов мошки и комарья. И я понял, наконец, в этой тряске, почему я, чем бы здесь ни занимался, нет-нет да и возвращался мыслью к Сойферту и его вечным «сослуживцам»... Надеялся, видно, распутать этот «тройной узел»... Что-то раскрылось бы, не сомневался, значительное. Развязалось бы... Вот почему размышлял об «узле» с тревогой, почти со страхом! Так думают о заминированной дороге. Проскочишь или нет?

Подобных мин, слышал, много раскидано по Сибири!.. От старого, лагерного. Да разве только по Сибири!.. Заминированная Россия!..

— Лёва! — вскричал я, болтаясь на выбоинах, как пилюля в коробочке. — Вы давно хотели рассказать мне о Сидоре Петровиче. Хороший человек, как понимаю...

— Святой человек! — воскликнул Сойферт с воодушевлением. — В Иркутске распинали, как Христа. Гвоздем руку пробили. Не выдал, где его семья. Так и не разыскали. У сына его анкета чистая. Сейчас в загранике. В дипломатах...

...В лагерях и то признали — святой. Сейдер. Закон. Вот слушайте... — И он принялся рассказывать, привставая на убабах, о том, как однажды его дружки, «воры в законе», постановили убить стукача. Но чтоб все было чисто, по-лагерному, чтоб никто, ни «суки», ни «бытовики», ни сектанты, ни охрана — никто не посмел сказать, что воры сводят счеты или не поделили поживу, воры постановили отыскать святого. Который на невинного руки не подымет, хоть убей его. Весь лагерь перебрали, остановились на Сидоре Петровиче. Начальник режима рассказывал, что тот хотел всю химию взорвать. Но мало ли какие лапти плетет начальник режима!..

— Святой! Комара не убьет!



Сидор Петрович плакал, просил освободить от убийства, в расстройстве даже очки раздавил. Воры ему другие принесли... Разъярились вконец. «Чистеньким,— кричали,— хочешь остаться, падло?! Незамаранным?! На кой ляд?! Как все, так и ты!..»

Наконец, они представили Сидору Петровичу доказательства, и — некуда деваться — Сидор Петрович ночью, на нарах, придушил стукача.

А потом год не спал. Все мерещились выкатившиеся из орбит глаза стукача...

— Святой! — прошептал Лёва Сойферт, — Христ!..

Через полгода пришла очередь Пилипенко. Воры постановили утопить палача. В это время мост строили. Накинули на Пилипенко мешок, ударили камнем по голове.

— Сейдер увидал, как закричит, забьется... Мы, конечно, врассыпную...

Пилипенко, выйдя из больницы, узнал, кто его спас, и теперь живет возле Сидора Петровича, как собака у ноги...

— Стой! — закричал Сойферт шоферу. — Не знаешь, где Сидор Петрович живет?! Ваня с Пресни!

Сидор Петрович жил один, в двухкомнатной квартире, уставленной и по стенам и посередине книжными полками. Полки полированные, самодельные, точно по размеру книг. Для «малой библиотеки поэта». Для «большой»... Стекла промыты. Посередине бар из карельской березы. Под замком. В нем, как выяснилось, хранился самиздат.

Такой личной библиотеки я и в Москве не видел.

— Тут поэты, — показал он мне на стеллажи у окна.

Тут были все поэты. От Кантемира и Тредиаковского... На другом стеллаже — весь Достоевский. Академический Толстой.

— ...Вечные ценности!.. — Он улыбнулся застенчиво. — А вот эти два шкафа — обруганные книги...

Такого я действительно не встречал — библиотека обруганных! Есть и макулатура, но сколько неоценимого, уничтоженного варварством и сбереженного, возможно, лишь здесь, на краю света, возле моря Лаптевых... Я перелистывал желтоватые пожелтые страницы... Пьесы, стихи, романы, не переиздававшиеся с двадцатых годов, изятые из всех библиотек, книги, за хранение которых давали десять лет со строгой изоляцией... Все заново переплетены. Внесены в каталог.

Сидор Петрович кашлял все сильнее, натужнее; казалось, ему уж не до меня, но как он кинулся ко мне, когда я выронил на пол истерханный и тщательно проклеенный сборник «Веки» и страничку подхватил ветер...

— Ну, хорошо, — сказал, откашлявшись, Сидор Петрович, ставя на пол бутылку коньяка и присев рядом со мной на корточки. — Что же будет?.. Твардовского сняли... Это последний бастион!

Он говорил о культуре, как отец говорит об обреченном ребенке.

— Что будет? Россия без этих вот книг... это все равно, что бросить ребенка в волчью стаю. Чтоб он потерял дар речи. Лишь мычал... Хотя опять Россию кровью умыть? Натравить на мир? Куда денемся с Лёвусхой?

— Я женюсь на тебе, и мы уедем в Израиль,— весело сказал Лёва Сойферт, накрывавший на раскладной столик.

Сидор Петрович захохотал, снова закашлялся от хохота и долго бухал, прикрыв лицо носовым платком. Утихнув, он долго сидел неподвижно, обессиленный, поникший.

— Знаете,— сказал он тихо, когда Лёва звенел на кухне тарелками, наставывая что-то.— Без Лёвуски я бы давно полез в петлю... Наверное, нужны двадцать веков гонений за плечами, чтоб человек спокойно наставлял даже во время облавы...

Мы ушли поздно. У Сидора Петровича была лишь одна кровать. Железная солдатская койка, вытесненная книгами в крошечную комнату — кладовку. Сойферт повез меня к себе.

Он жил на краю города, в белом домике, похожем на украинскую мазанку. Показал его издали. В ту сторону вела прямая, накатанная дорога, перегороженная шлагбаумом и надписью: «Стоп! Запретная зона». Однако и там, в зоне, стояли такие же домики, белые, одноэтажные: мирный городок, по главной улице которого по обыкновению бродят куры, поросята, козы.

Мы пошли в обход, по болотистой тропе, и Лёва Сойферт ответил на мой недоуменный взгляд, что тут — лагерь.

— Нововведение,— процедил он сквозь зубы.— Лагерь первой судимости. Тут сидят и те, кому год дали. И кому пятнадцать... Но... по первому разу... Поэтому забора нет. И вышек. Даже «колючки» нет... Стенка только на улице, где принимают передачи... Это чтоб у эзков было ощущение, что они вроде как на свободе... Что?.. А вы зайдите-ка вот за тот колышек, попробуйте... Перепаханная полоска, как на границе. Видите? И электроника. Поставлена на службу прогресса. Таки-да! Без электроники! Хо! Тут есть ребята, которые сидят девятнадцатый год. Когда максимум — по Уголовному кодексу РСФСР — пятнадцать... Они получили срок, когда еще давали двадцать пять. И никто не пересматривает. Электроника на страже!.. Ай, что вы говорите! Кто напечатает об этом? Не будьте ребенком!.. Я, между прочим, тут тоже посидел. И Сейдер! Правда, тогда еще не было этого экспериментаторства. Первая судимость, вторая судимость... Стояли вышки с пулеметами.

Когда мы вошли в его дом, полный кактусов в глиняных горшках, украинских маков и «паучков», он тут же отомкнул книжный шкаф. Книгам была отведена лишь одна полка. Книги были все старые.

Кропоткин. Процесс меньшевиков 1931 года. Гумилев. Книги с синим зайчиком на суперобложке. Все до одной — Сидора Петровича...

Зазвонил телефон. Еще раз. Еще. Сойферт отвечал кратко. Свое обычное «угу!», «не вылети на повороте!» Или: «Дело — говно. Будем раз-

гребать!» Иногда добавлял еще несколько слов о том, как разгребать... Я спросил, нельзя ли отключить телефон. На ночь. Он встрепнулся: «Что вы? Производство. Буровые. Газ. А если что?»...

Ближе к утру, когда мы переговорили, казалось, обо всем, я спросил его, словно вскользь, почему он остался здесь, в этом городе, где даже глина на буграх кажется проступившей кровью. И вот поселился у тюрьмы. Что за мазохизм?

Он усмехнулся:

— А где не тюрьма?.. Там хорошо, где нас нет!

Я спал плохо. Заметил, сквозь дрему, как Сойферт поднялся, нахлобучил кепочку и стал быстро-быстро собирать сало, хлеб в узелок, записал узелок в портфель, сунул туда бутылку водки и — выскочил из комнаты.

Его не было долго. Я подошел к окну и вдруг увидел его за стеклом — сторбленного, небритого, в обвисших штанах из синей парусины, которые он подтягивал машинально и потерянно. Он брел, раскачиваясь, как на молитве, только чуть на сторону, волоча тот же разбухший портфель.

— Другой сегодня, — хрипло, с горечью, сказал он, войдя в комнату. — Ничего не передашь... — И, спохватившись, замолчал. Посмотрел на меня своим изучающе-пристальным взглядом и, поняв, что проговорился, рассказал страшную правду, которая не дает мне покоя и сегодня.

Три года назад у Сойферта был инфаркт, врачи потребовали, чтоб он уехал на юг. И он стал собирать вещи. Всполошились власти. Незаменимых людей нет, но... как без Лёвы Сойферта? Заполярье. «Ни купить, ни украсть», как говорили старые зэки. То труб нет, то хлеб не завезен. Разбежится народ... Сам Первый вызвал Сойферта, обещал отправить в санаторий ЦК. Любой. Даже в Нижнюю Ореанду. Только чтоб вернулся назад.

Пообещали Сойферту квартиру в доме крайкома — он все равно собирается. Удвоили оклад — бросает и оклад. И тогда к восемнадцатилетнему сыну Лёвы Сойферта Яше, который возвращался домой после выпускного вечера, подошли на улице три молодца и девчонка и завязали драку.

Суд был скор и справедлив. Сына Сойферта обвинили в нападении на девушку и в попытке изнасилования: не изнасиловал-де только потому, что прохожие отбили девушку.

Прохожих было трое, девушка — четвертой. В их показаниях расхождения не было. Яша получил восемь лет лагерей.

... — Далеко не увезли, — прошептал Сойферт, руки его затряслись. — За стеной, рядышком...

— Как смели на это пойти?! — вырвалось у меня. Мне невольно вспомнились мои московские друзья. Мудрый, похожий на морщинистого ребенка Александр Бек, шептавший: «Гриша, я их боюсь! Я их смертельно боюсь!..»

— Кто мог это сделать, Лёва?

— Хо! Пилипенко и не такое придумывал... А за что его держат? Лечат в санаториях ЦК? За голубые глаза?

Мы вышли с Сойфертом на топкую улицу, приблизились к высокому бревенчатому забору, которым некогда обносили старорусские города от татар. Он был сырым, в плесени, как почти все на берегу ледяного моря в эти августовские осенние дни.

Забор перегородивал улицу, превращая ее в тупик. Он был коротким, но недвусмысленным. Сверху козырек, колючая проволока. Почему-то у ворот не полагались на одну электронику.

У маленькой дверцы стояла очередь с узелками, чемоданчиками. Дверца была с глазком.

Лёва Сойферт молитвенно воздел руки и сказал каким-то хрипящим шепотом:

— Вот моя Стена плача! Куда я могу уехать от Стены плача?!

## БАШКИРСКИЙ МЕД

Зайцы делятся на социалистов и капиталистов. Это я узнал от грустного семнадцатилетнего башкира по имени Салават, когда мы с ним месили апрельскую грязь в Гузове, забытой Богом деревне на севере Башкирии. Сырой чернозем, перемешанный со снегом, облеплял сапоги до колен, я придерживал огромные одолженные мне Салаватом сапоги за голенища, чтобы не увязли, торопясь через поле мороженой картошки. Прямо из-под моих ног выскочил обшарпанный заяц-беляк и запетлял к сосняку. Салават улыбнулся ему и сказал добродушно:

— Шоциалист!

У Салавата были выбиты в драке все передние зубы, рассечена оттопыренная губа. Он шепелявил так, что поначалу его нельзя было слушать без улыбки. Казалось, говорит трехлетний. Однако ощущение это проходило быстро.

Беляк — заяц лесной, объяснил он, заметив мою улыбку. Когда рождаются зайчатки, мать их бросает, теряет. Они разбредаются, и любая самка, учуявшая по запаху зайчонка, подбегает и кормит. Коллективисты. Беляки. Коммуной живут...

— Фрилав на инглиш, — заключил он свой рассказик. — Ш-швободная любовь, по-нашему.

Я остановился посередине поля в нетерпении, чтобы тут же выяснить все и про зайца-капиталиста. Капиталист, оказывается, заяц-русак. Он живет в степи Южнее. Степь — место открытое. Спрятаться негде, любая ямка — сокровище. Если самка находит углубление, она там утверждает с зайчатами, никого не пускает. Мой дом — моя крепость

— Империализм, как пошледняя штадия капитализма! — солидно сказал Салават, и узкое лобастое лицо его засветилось — в первый раз за все время нашего недолгого знакомства...

Я люблю натуралистов. Они — моя слабость. Человеку, которому заяц-беляк друг и брат, который издает отличает посвист пеночки и улыбается ему, как голосу родного, такому человеку я готов довериться почти безоглядно. Если же ему, в его семнадцать лет, не терпится, как Ламарку, по-своему сгруппировать природу, я готов слушать его, даже коченея от северного ветра.

Но Салават не останавливается, не ждет меня. Только на мгновение приседает у глубоко вдавленных лосиных следов и тут же спешит дальше.

Он лишь три месяца назад стал зоотехником; тут, в родном селе, его первая должность, которую он, по выражению его деда, «исполняет бегом...».

Я вспомнил о своем сыне и подумал: какой радостью был для учителей Салават. Нацеленный с детства...

— Ош-шибка ваша! — бросил Салават на бегу, едва я заикнулся об этом. — Я был страш-шенным хулиганом. Извергом. Чешное шлово!..

Моя улыбка заставила его задержаться.

— Не верите? Учительша географии была. Из города Златоуста. Задала мне на дом задание. Опиши природу! Как видишь, говорит, так и пиши. Две недели нудила... Природу писать — это ж как на икону плевать... Не буду, уперся. Она меня за дверь... Ух, тогда я наворотил. «Сквозь красноватые листья клена платановидного просвечивали странные разноцветные плоды бересклета бородавчатого...» Дальше — больше! «Упираясь могучими корнями в землю, стоял нетопырь-карлик...» А нетопырь-карлик — летучая мышь... Она читала, верите, прослезилась. И класс прослезился. До того прослезились, гады, что перестали на ее занятия ходить. Верите, как вспомню сейчас, жаром обдает. Учительша всю жизнь у домны прожила, откуда ей знать. Страшенный был хулиган!..

В голосе Салавата не было прежнего оживления: мы дошли до цели...

А целью нашей был коровник на краю поля. Салават открывает половинку дощатых ворот на скрипящих петлях, и перед нами, в сырой земляной темени, вырастает зрелище, которое можно увидеть разве во сне...

Корова, вернее то, что осталось от нее: скелет, обтянутый буро-белой кожей с язвой, обработанной чем-то вроде зеленки, стоит на ногах-палках, подвешенная, чтоб она не рухнула, на бельевых веревках...

Глаза привыкают ко мраку: подобное видение и в соседнем стойле, и в другом конце коровника. Остальные стойла пусты... Едкий запах лежалого навоза не доставляет мне радости, но я уже не могу выйти, продвигаясь внутрь сарая, а Салават останавливается и, достав из кармана

ватника домашнюю лепешку из картофеля, дает вздрогнувшей корове. Она жует как-то не по-коровьи быстро, а он гладит и гладит костлявые бока, шепча ей что-то по-башкирски. Таким тоном шепчут любимой...

— Вошемьшот было! — вдруг кричит Салават. — Приехал, еще дышали... Продал корма Шингарей! У, Шояк! — Он еще что-то кричит по-башкирски.

Я уже знаю, что «шояк» по-башкирски — лжец. Но еще ничего не понимаю в том, что произошло. Эпидемия, что ли, была?.. Как это можно — продали корма? Пропили, что ли?

— Коровий лагерь! — Рассеченная губа Салавата дрожит. — Штругий режим!.. Не дотянули до травы. Все корки собирал, огрызки, кору варил, ботву, картошку из-под снега рыли — не дотянули...

Мы бредем назад, по скрипящей, перемешанной с талым снегом грязи; мне не терпится взглянуть на председателя колхоза Шингареева.

— Он что, пьяница? — спрашиваю у Салавата.

— Шояк — Шингарей? Ой, нет! Башкир много не пьет. Русский много пьет. Он трезвый убил. Трезвый! Его хотели снять, но...

Это я уже знаю. И не только я. Ведь я «брошен на пожар». Да что там — на пожар! Почти бунт... Собственно, дойди Гузово до бунта, прислали б не меня... Тут бунт на коленях. Крик души. Он лежал во внутреннем кармане моего пиджака в виде многостраничного страшного письма, написанного цветным карандашом: другого, видно, не было.

Три дня назад мне позвонили из газеты «Советская Россия», попросили заехать и показали это письмо, в котором и про голод, начавшийся в деревне, и про «коровий лагерь» упомянуто вскользь. А три четверти письма кричало, взывало к совести человечества — большими детскими буквами, решительно не признавая женского рода:

«...Весь природо опустошал. Вот пример: тетерка, глухарь, рябчик на рынке нарасхват, коли весь коров помирал. Приказ: колхознику стрелять ястреб, лунь и другой хищник, который тетерку клюет! А ястреб, лунь — это же санитар, клюет больных, слабых.

Месяц прошел, весь тетерка помирал, весь глухарь помирал. Весь рябчик... Весь семейство тетеревиных... Мор!.. Лес, как сирота. Кто дал право рушить биоценоз?»

Письмо было коллективным, под ним стояло триста двадцать подписей на четырех языках: башкирском, мордовском, татарском, русском, — вкривь и вкось, и несколько оттисков пальцев тех, кто не ведал ни одного...

Потому и позвонили из столичной газеты, в которую ежедневно приходят мешки писем, что триста подписей... «Коллективка», шепнули в редакции. Этого не любили и опасались...

И главный редактор газеты Константин Зародов, посоветовавшись с кем-то, решил послать «на пожар» кого-либо из писателей, за которого газета, по крайней мере до опубликования материала, ответственности не несет. Черт знает, как еще повернется!

Писал «коллективку» Салават. Это было не так уж трудно понять... И вопросительные знаки на тетрадном листочке были его. Они возвышались над строчками, как деревья над травой. И казалось, даже раскачивались, как деревья на ветру.

Было от чего раскачиваться...

— Вы видели манок? Знаете? — спросил Салават, заведя меня по пути из коровника в какой-то длинный барак. Я понял, что это клуб, лишь по гигантскому иконостасу в красных рамах; с иконостаса застыло косилось на нас Политбюро в исполнении местного художника, видимо, тарина: все члены Политбюро — широкоскулые, круглоглазые — походили на татар, пожалуй, даже на татарских ханов, только почему-то в галстуках. Какой-то татарский пир!..

— Вот манок! — Салават отпер рассохшийся шкаф, достал из-под бумаг деревянный манок и подул в него. Раздалось утиное кряканье... — Зверь такого не придумает. Только этот ...хомо сапиенс! Манки на утку, на рябчика, на оленя. Все для убийства! Страшенного! С обманом... Этот я отобрал у школьника. Спросил его, зачем обман? Нехорошо обман...

Салават стал живописать — и руками и плечами, как колыхалась на воде выструганная школяром из дерева утица, а сам школяр дул в это время в свою кряхтелку. Самец услышал утиный крик и, забыв все на свете, метнулся в любовном экстазе, к утице. А школяр его из ружья. С лета...

— Обман! И тут точь-в-точь такой же обман... — Салават показал на отсыревшие деревянные стены барака. — Приехали из города Бирска. И — в свой манок. «Выборы! Выборы!.. Всеобщие, открытые... Шояка переизбирать». Манок искусный. Кря-кря! Все слетелись...

Скамеек не хватило, сидели на полу, на подоконниках; мальчишки табором впереди; их оттеснили под стол президиума, накрытый прошлогодним лозунгом. Сказали: выбирай председателем Шояк-Шингаря. Пятый год подряд. Тут как закричали: «Этому больше не бывать, чтоб Шояка председателем!..»

Подсчитали поднятые руки, постыдили тех, кто тянул сразу две. Четыреста двадцать против Шояка. Только семь за...

Из Бирска который — опять в швой манок. Кря-кря! Еще раз! Обратно голосовать. За Шояка еще меньше. Четыре... Даже дежурные свинарки прибежали, чтоб Шояк-Шингаря не допустить...

Из Бирска который приказал двери запереть и никого не выпускать. Обратно голосовать.

Часов через шесть, за полночь, начал народ в окошки прыгать. У кого скотина не кормлена, у кого детишки взаперти...

А главное, поняли — не выборы. Манок: кря-кря! Подделка!..

Зрочки Салавата от ужаса расширились, глаза стали черными, без дна:

— Какой манок придумали, а? Даже сказать страшно! Кря-кря! На людей!

Двадцать шесть часов держали колхозников взаперти — такого я действительно не видел! К вечеру следующего дня мужики высадили дверь, матерясь — преимущественно по-русски, и спустя полчаса в бараке осталось лишь девятнадцать человек, решивших лечь костями, но Шояка провалить...

— Из Бирска который, — изумленно рассказывал Салават, — лоб платком вытер и — обратно «кря-кря»!.. В шестой раз... Кто, спросил, против Шингареева?.. Все девятнадцать подняли руки. Как один.

— Из Бирска который поглядел туда... — Я взглянул в ту сторону, куда показал рукой Салават, невольно задержав взор на главном татарине, изображенном во весь рост, от пола до потолка. — И потом сквозь зубы: «Значит, таким путем! Запишем. Семнадцать против. Все остальные колхозники, естественно, — за...»

— Чешное шлово! — прокричал Салават испуганно. — Каждого спросите... Верите, что такое возможно?! А я думаю иногда, приснилось мне... Кря-кря! На людей?! Се ля ви!.. Кошмарный инцидент, если по-русски. Я тоже был хулиганом, хорошо! Но мне было четырнадцать. Ужасный возраст!.. А Шояку? Что ж это такое? Кто ни прикатит в Гузово, всех вот так, на манок. Кря-кря! Что ни чужой, Шояку помощь. Кто тут только не побывал!

Только сейчас я начал понимать, почему Гузово встретило меня закрытыми ставнями и безответными дверями. Я прибыл на машине с обкомовским номером...

Меня привезли сюда в сумерках. От Уфы мчали по выбоинам часов пять, окончители, проголодались. Обкомовский шофер в двери кулаком стучал, потом сапогом.

— Ну, Гузово! Ой, Гузово! Поняли, что за народ?! Колыма по ним плачет!..

Из одного оконца выглянули — и свет погасили. Мол, нет нас...

У башкирских домов он просил выпустить нас по-башкирски. У мордвы — по-мордовски. Бранился по-татарски. Как он отличал в полумраке башкирские хаты от русских или мордовских!..

— Тут сам кричи! — Он повернулся ко мне в ярости. — Тут ваши живут, воронежские!.. Наличник какой, разве не видать?..

Улица как вымерла. Не у кого даже спросить, где правление. А тут и вовсе стемнело, и зарядил дождь.

Наконец нас пустили. Изба маленькая, душная. Шофер простился, сказав, что в Гузове не останется. «Из принципа...» Заночует у земляков... На пороге оглянувшись:

— Ох, Гузово!.. Ну, Гузово!..

Меня уложили у входа, на широкой лавке, я не мог заснуть от духоты и оттого, что где-то, под окном, что ли, гоготал гусь. Вызывающе гоготал. Победно.



Ворочаясь на лавке, я думал, как можно жить в доме с такими тонкими стенками? Не Африка!.. Едва начало рассветать, из-под моего жесткого ложа вывалилась белая гусыня. Оказывается, она сидела всю ночь под лавкой, на которой я неостановимо ворочался. Высиживала яйца. Теперь она валяжно, покачиваясь на желтых ногах, прошествовала в противоположный угол избы, к миске. На меня, шуршавшего на лавке, даже не оглянулась. Так же, как и хозяин, мордвин в подвязанных галошах, который отвел меня в правление колхоза, отрешенно глядя большими слезящимися глазами в сторону.

Теперь только мне стало понятно, откуда такая любовь...

Как только по Гузову разнеслось, что прибыли из Москвы по поводу письма, дверь избы Салавата не закрывалась.

Хозяин избы, дед Салавата, крошечный, заросший до ушей пасечник, избегал меня.

— Из газеты, — прокричал ему в ухо Салават.

— Шояк! — Дед упрямо мотнул головой.

— Из самой Москвы! Не из Уфы!..

— Шояк! — стоял на своем дед.

Он признал меня лишь перед самым отъездом, когда, набредя в лесу на пасеку, я купил башкирского меда.

— Кто тебе выбирал? — дед осторожно приблизился ко мне.

— Я... сам...

— А как ты мог выбрать самый лучший?

Убий меня Бог, если бы я сумел объяснить это! Однако башкирский мед, отрезанный мне куском, с сотами, прозрачно-белый, пахнувший липой, преобразил деда. Теперь он верил в то, что я разберусь во всем и спасу Гузово, с тем же неистовством, с которым раньше тряс головой: «Шояк!..»

В самом деле, коль человек из всех медов выбрал самый лучший!..

Отведя меня в сторонку, старик рассказал мне о том, чего не было в письме и чему я не поверил, не мог поверить, пока сам не убедился позднее в районном городке Бирске, о котором речь еще впереди...

— Тут такая хиромантия, — напугивал меня дед, — гляди в самую точку.

К вечеру в избу набилось столько, что пришлось раскрывать окна. Поговоривший не прощался, а вставал к бревенчатой стенке, слушая, что скажут другие. Мордовки теснились поодаль, в белых длинных носках грубой шерсти. Галоши отвязывались на пороге. Мужчины позволяли себе входить в сапогах, облепленных талым черноземом. Задымили самосадом, не упуская ни слова из разговора с приезжим. Все ли так? Не забыто ли чего?..

Привели детишек, прозрачных, измученно-тихих, мал мала меньше.

— Двоих Бог прибрал! Четверо осталось! — хрипел согнутый до земли человек в драном ватнике. — Шояк-Шингарей сказал: живи, как хочешь.

Горе заполонило избу Салавата, кричало, молило на все голоса, и когда казалось, что ничего ужаснее я увидеть уж не могу, поднялся Салават.

— Никто не сказал о самом страшном: Шояк нарушил биоценоз... — тон, которым Салават произнес эту фразу, заставил хату притихнуть; так говорят об убийстве.

— Би-оцен-оз, — шепотом повторил Салават, губы его задрожали. — Биологическое сообщество, по-нашему... Штраснее что есть? Лес опустошил... Правда, при Шталине запрещали заниматься кибернетикой и биоценозом?.. Это о чем-то говорит?.. Все шло не по законам природы... Преступный отстрел... Лев Толстой звал к природе, знаете? Носил вместо крестика медальон с изображением Руссо...

Мордовки не сводили глаз с Салавата, побледневшего, в свежей рубашке и коротком пиджачке с галстуком в крупный горошек. Смотрели влюбленно, по-матерински растроганно, а потом косились в мою сторону: понимаю ли я, каков Салават?! Каковы их дети!.. Их Гузово!..

— Салават! — крикнул ширококостный цыганского вида мужик с темными, в машинном масле, руками. — Рассказал, как тебе зубы вышибли?.. Э, неух! — И подошел ко мне. — Когда корма увозили, Салават, как чуял, приближал. Лег перед грузовиком. «Давите!» — сказал. Ну, его, значит, как котенка, — в сторону... Он схватил секач, которым, значит, сечку рубят, и по шинам. По шинам... Во, разукрасило малого!.. Кто? Шояк, кто еще... Он драться научен по книгам. Проходил эту... как ее? Джиу-джитсу... Сфотографируй малого для газеты «Правда». Все подпишемся...

Одна из женщин, торопливо подвязав галоши, кинулась куда-то, принесла мне гостинец. Кусок красной, жгущей гортань солонины... «Прощай меня, — сказала, — другой мяса в Гузове нет... Салавата сними на карточку. Пусть все видят: убивают Гузово! Зачем убивают Гузово? Зависть — нет! Северней башкир не селится. Татар — не селится. Мордва — не селится. Кому мешает Гузово?! Шояку?!».

Тут все закричали разом. При слове «Шояк» никто не мог удержаться. Кричали, по сути, одно и то же. На разных языках. Почему держатся за Шояка? Пятый год подряд. Тянут за уши человека, которого ненавидит вся округа? Выгораживают. Против всех идут. Кому он нужен, Шояк?!

Я молчал. Этого я еще не знал. Не понимал. Почему-то лез и лез в голову Тютчев: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...»

В самом деле, какое-то дьявольское наваждение!

...Шингареева в Гузове не было. Я ждал его вот уж третьи сутки, бродя по лесу, залитому талой водой, режущей глаза, небесно-голубой. Березняк на бугре начал зеленеть. Острые клейкие побеги вот-вот взорвутся.

Никакой Шояк не остановит. Природа...

Шояк-Шингарей отыскал меня сам. Ввалился в избу, согнувшись, чтобы не удариться о притолоку; затоптался у дверей, огромно-рыхлый, дерганый, настороженный. Но вовсе не испуганный...

Уселся на лавку, подобрав под нее кирзовые сапоги, в грязи по колено, просипел, вертя самокрутку:

— Сами... это... видали... На такой работе есть возможность каждый день четыре раза сойти с ума и два раза застрелиться... В войну легче было. С парашютом кидали в тылы врага, а не в пример легче... А куда деваться? Семеро по лавкам. Сам девять...

— Парашютист, значит?

— Так точно! Третий краснзнаменный парашютно-десантный...

— Теперь вас сбросили на Гузово?

— Что?

— Корма продали? За сколько!

— Так точно, вывезли. За 60 тысяч... А что делать? Доили государство с войны. — Он пригнулся вперед, сбычился, уставясь на меня пустовато-светлыми немигающими глазами и частя заемными словами: — Государство не дойная корова... Первая заповедь колхоза — рассчитайся сполна. Продали корма — рассчитались...

— Коров погибло на 300 тысяч?

— Так точно! Как минимум... Ненавидят меня?.. Я сам себя... Это... сказал же! готов два раза в день застрелиться... Так меня и крутит ветром. С сорок первого. Вы точно заметили, сразу видать, откеда человек... Все, как в войну. Приземлился, парашют закопал, женился, значит! Теперь по инструкции — занял круговую оборону... А куда деваться?.. — И, без паузы: — Спирт потребляете? У нас бураковый, с запахом... Или портвейну прислать? Держим для приезжих. Яички сейчас принесут. И сельца. А то в Гузове недолго и ноги протянуть: ни купить — ни украсть... «Газик», значит, подадим, как сказали... Две оси ведущие; вездеход...

Когда с рассветом я шел к «газику», навстречу мне бежал Салават. Маленький, как дед, белая рубашка вытащилась из брюк, раздулась за спиной пузырем.

— Милка полегла! — крикнул он в отчаянии. — Предпоследняя... Миланя!.. От лепешки отказалась...

«Газик» тронулся тихо, а Салават все бежал рядом, держась за дверцу, крепясь, чтоб не зарыдать:

— От ле-эпешки отказалась! От лепе-э-э-э...

У Бирска свой «витринный» въезд: каменные, с окованными дверями, амбары на реке Белой. Когда-то Белая торговала пшеничкой со всем миром: черноземы за Белой славились, их раздавали за верную службу царю и отечеству, и даже самые беспутные из владельцев, не отличавшие ржи от пшеницы, богатели: не мешали крестьянам ни пахать, ни сеять...

Ныне амбары закрыты. Замки и засовы красны от вековой ржавчины.

По крутому подъему поднялся на базарную площадь, возле которой в старинном запущенном особняке, расположился райком коммунистической партии.

На самом бугре райком. Далеко видать...

Я люблю останавливаться в таких заштатных сонных городках, где нет бетонных коробок массового строительства, где все, как сто и триста лет назад... Здесь все — история, обветшала, живая, и кирпичные стены метровой толщины, монастырские ли, купеческие ли. И даже изгрызенный столб коновязи на базарной площади: за него и сейчас привязан жеребец с холщовым мешком на морде. Хрупают овсом, перебирают ногами, бьют хвостом по лоснящемуся крупу. Россия, которая еще жила надеждой...

Секретарь Бирского райкома не заставил себя ждать, вышел ко мне, молодцеватый, поджарый, стремительный, как танцор. Пиджак словно сшит в театральном ателье, почти до колен. Мода. Из дорогого сукна «трико ударник». Он вел себя так, словно приехал родной брат.

Усадил родного брата напротив себя и, раскачиваясь на старинном, витого дерева, стуле, потянулся к бухгалтерским счетам, которые лежали перед ним на письменном столе. Откинув зачем-то костяшку на счетах, сказал с радостным одушевлением:

— Видели?! Пользуясь своей беспартийностью, делают что хотят!..

Я молчал. Он снова откинул костяшку на счетах.

— Животноводство! Это дорогого стоит! Подбросили в Гузово шесть тонн проса. — И отшвырнул на счетах еще шесть костяшек. — Прибыл я туда. На два дня... — Снова щелкнул костяшками...

Он щелкал, о чем бы ни говорил. Без всякой нужды. Этот сухой щелк был вроде ритуального ритма тамтама. Убеждал собеседника, какой в Бирске рачительный хозяин?

«А если бы я привез с собой Салавата, он бы и при нем щелкал?»

— Мне нелегко, в Ленинграде занимался промышленностью, — заметил он, и я наконец вспомнил, откуда мне известно его имя.

Это было нашумевшее дело. О миллионных поборах со спекулянтов, имевших фальшивые фабрики в Грузии и магазин в Ленинграде, как бы государственный... Спекулянтов расстреляли — «за экономическое вредительство...» Я был убежден, что и секретаря райкома, которого они содержали, осудили. А он вот где, танцор...

— Второй год в дыре, — заговорил он как-то весело, видимо, по-своему расценив мое молчание; распорядился принести мне чаю и достал из шкафчика банку с прозрачным, как слеза, медом. — Башкирский! Пальчики оближете!.. — И, без перехода: — Обещали осенью вытянуть в Уфу, вторым секретарем обкома. — Чуть подмигнул, как своему, понимающему с полуслова: — Второй всегда русак... А я в меру обаятельный. Мешать не буду... Подыми, говорят, только район на ноги...

— И подвесь на веревках,— сказал я сквозь зубы.

Он вскочил на ноги, захохотал.

— Вот-вот! Вы же там были... Как поднять Гузово?.. Чем? Домкратом?..

Я сидел ни жив ни мертв. Значит, каждое слово, сказанное дедом Салавата,— правда?! «Новая метла,— шептал он мне в углу хаты о бирском секретаре.— Новая метла всегда что-нибудь выкинет...»

А дело тут завязалось почище ленинградского!.. Видно, он без афер жить не мог, этот танцор, выскочивший на партийную сцену.

Чтобы «сложилась» в глазах руководителей Башкирии картина общего счастья, он с каждого хозяйства брал, как татарский хан, ясак... Одни должны были сдать много мяса, другие увеличить надой. Поставить рекорд!.. Хотя одну корову раздоить, чтоб рекорд!.. Гузово тащилось середнячком. Проку от него никакого. Что ж, зато Гузово, продай оно корма, может вернуть государству долги. За все годы... Если колхоз возвращает государству все долги, кому не ясно, что он круто пошел в гору!..

...Я мчался в Уфу, готовый потратить неделю, месяц, полжизни, чтобы свалить этого молодцеватого душегуба в модном костюме «трико ударник»!..

Полный решимости, документов о голоде в Гузове, фотографий, свидетельских показаний, я поднялся в Комитет КПСС Башкирской республики, возле которого стояли две черные «Волги» с армейскими антеннами, а постовой так долго проверял мои документы, словно это было не учреждение в глубине России, а государственная граница. Первый секретарь находился в тот день в Москве, на открытии сессии Верховного Совета СССР, и здесь на всех этажах царила нервная суматоха. Бегали и девочки, и мужчины с брюшком: оказалось, к отлету Первого не сумели подготовить его речь; представленную он забраковал, и теперь весь аппарат трудился над вторым вариантом, которого ожидал на аэродроме в Уфе специальный самолет.

Меня принял второй, кричащий на кого-то, взмыленный...

Круглая, с редким пушком голова с закатывающимся на сторону пронзительно-хитрым глазом не оставляла сомнения, с кем я имею дело...

Я уже не раз встречался с армией «вторых». Не знаю когорты циничнее, хитрее, беспринципнее, чем «вторые», — в вузах, министерствах, обкомах. Они, как никто, умеют казаться необходимыми и в то же время держаться в тени, а главное, вторые достигли изощренного умения всегда казаться глупее своего начальства. Во всяком случае, не умнее. Ни в коем случае! Это первая заповедь «второго», если он хочет когда-либо стать первым...

Я рассказал, с чем пришел, и глаз «второго» закатился еще глубже, на виду остался лишь белок с кровинкой. Другой глаз опущен, прикрыт дряблым веком в рыжеватых пятнах. Попробуй пойми: о чем думает че-

ловек? Качается перед твоим лицом светлый реденький пушок на темечке

Когда я произнес слово «биоценоз», «второй» моргнул дряблыми, в пятнах, веками, словно я выразился непечатным словом. Позвонил, чтоб принесли чаю. «Попробуйте нашего башкирского медку, до-орогой товарищ!» Затем миролюбиво спросил, не заезжал ли товарищ в деревню такую-то. Там новшество. Карусельная доилка. По рекомендованным чертежам, дорогой товарищ!.. Если первое «до-орогой товарищ» прозвучало скукой, почти стоном, то последнее отдавало угрозой. И чтоб не оставалось сомнений:

— О «каруселях» будут говорить завтра в Кремле, на заседании Верховного Совета Эс Эс Эс Эр. Башкирская А Эс Эс Эр выполнила указание первой...

Я молчал, глядя в тоске на светлый пушок, на новый, с иголки, костюм «тройка» из того же партийного сукна «трико ударник» (видно, в Уфе он был дефицитным). И бестактно сказал об опухших детях, о запланированном бирским секретарем убийстве села Гузово...

— А за рекой Белой вы были? — он спросил меня с прежней невозмутимостью, словно в моем повествовании не было ничего хоть сколько-нибудь заслуживающего внимания. — Там есть Герой Социалистического Труда, который...

...Я выбрел на уфимскую улицу с ощущением, словно я с разбега налетел на каменный забор. Голова гудела.

Куда идти? Главнее этого дома в Башкирии не было. Хозяин — здесь...

Ветер обжигал. Как зимой. Пригнувшись и наставив ворот плаща, двинулся, куда глаза глядят, испытывая почти физически чувство человека, которого не просто били, а топтали ногами, а потом вышвырнули на улицу и следом плюнули...

Помню, я остановился на перекрестке и произнес, не замечая, что говорю вслух:

— Салават, что же мы будем делать?..

...В Москве главный редактор «Советской России» Константин Иванович Зародов, едва я вошел в его просторный кабинет, протянул мне бумагу с официальным штампом. Это был документ, присланный из Уфы. В нем сообщалось, что присланный редакцией человек беседовал «не с теми людьми», а сплошь с клеветниками и очернителями, подлинной картины не понял, не разобрался и вообще пошел на поводу нездоровых элементов...

— Иногда ответа из Уфы по полугоду ждем, а тут, как видишь, сверхоперативно. — Зародов усмехнулся, потер свою высоколобую голову и спросил: — Что делать будем?

Я снова пробежал взглядом письмо, подписанное заведующим отделом республиканского обкома партии, которого я и в глаза не видел, и у меня вырвалось в сердцах:

— Ну и гады!..

Я подробно рассказал Зародову о своей «башкирской экспедиции» и попросил немедленно, по моим следам, послать штатного корреспондента «Советской России». Для проверки...

Зародов снова потер свою высоколобую голову и нехотя согласился.

Штатный вернулся через неделю, заявил, что я кое-что смягчил, надо им врезать посильнее; и вот типография «Правды» набрала в тот же день полосу очередного номера. Страница была составлена из коллективного письма колхозников деревни Гузово Башкирской АССР, моего материала, торопливого опровержения Башкирского обкома и небольшой заметки «От редакции», в которой подтверждалась страшная правда коллективного письма из деревни Гузово...

Когда я поднялся в апартаменты главного редактора, сырой оттиск завтрашнего номера газеты был уже «завизирован» отделом писем, отделом проверки, ответственным секретарем, цензором, весь угол был расцвечен ответственными карандашами, осталось расписаться лишь главному редактору и, возможно, одним преступлением на Руси, в далеком башкирском углу, стало бы меньше...

Константин Зародов спросил меня о здоровье и здоровье близких, улыбнулся приязненно и, продолжая улыбаться, стал набирать номер белого телефона, который в редакциях называют «вертушкой» и никогда не оставляют без дежурного или охраны.

— Докладывает Зародов! — произнес он с четкостью армейского офицера, и я невольно вспомнил парашютиста из деревни Гузово. — ...Есть у нас один материал... — И он поведал вкратце о «новой метле» из города Бирска, выскочившей на партийную сцену... — Есть-есть! Так точно!.. — отпартовал Константин Зародов и, положив трубку, повторил услышанное...

— О Башкирии не рекомендую, — сказали там. — Башкирия дала в этом году много хлеба... Выберите, если надо, какой-либо колхоз Свердловской области...

Зародов нажал кнопку. Написал на свеженькой полосе красным карандашом «В АРХИВ»...

Месяца через два я наткнулся во дворе комбината «Правда» на парнишку из отдела писем. Он крикнул мне, что пришло из Гузова письмо, против меня...

Я тут же поднялся в отдел, и мне показали письмо, написанное чудовищными каракулями, по четыре ошибки в слове.

«...Башкирский мед он понял, думали, поймет и нас, а он такой же шояк...

А внука моего, Салавата, отдали под суд и присудили к восьми годам тюрьмы за то, что, сказали, поморил коров...»

Наверное, я сильно изменился в лице, — паренек из отдела писем порывисто коснулся меня пальцами и произнес успокоительно:

— Не беспокойтесь. Письмо послали на верхний этаж. Вернулось с резолюцией Главного: «В АРХИВ». Видите, это его рука... Так что все в порядке.

## БРАТСКАЯ ГЭС

Юра поднялся в самолет «ИЛ-14» и огляделся: куда приткнуться? Самолет местный, кресла нумерованные. В хвосте, похоже, монтажники расположились. В черных лоснящихся кожных, резиновых сапогах. Один в зимней шапке с опущенными ушами, которую не снял даже здесь: чалдон теплу не верит; ныне тепло, а через полчаса зуб на зуб не попадет. Тайга! Только уселись, тут же повтыгивали из своих необъятных карманов бутылку «Облепихи», другую, третью... Разлили в бумажные стаканчики, один протянули Юре, забывшемуся в последний ряд, возле туалета.

— Глотни, паря, чтобы довезли живьем!

Юра пригубил и огляделся, куда поставить.

— Ты что, паря, иль кореец какой?.. — удивился чалдон в зимней шапке с опущенными ушами. — Русский? Тогда не плескай...

— Н-не могу пить! — выдал Юра, чувствуя, как наливаются огнем уши. — Собака... это... покусала!

Монтажники покачали головами сочувственно. Собака покусала — дело серьезное.

Юра пододвинулся к иллюминатору, из которого было видно крыло с полосой гари от выхлопных патрубков, и подумал, почему ляпнул про собаку?.. Вот ведь, о чем болит, о том и...

Едва Юра получил паспорт, сразу отнес заявление в летную школу. Привезли Юру в город Чугуев, под Харьковом, вышел к ним, стриженным, кадровик в синем кителе и сказал, чтобы написали биографии в свободной форме. Юра решил, что в свободной форме — значит, вроде сочинения на вольную тему. Писал, как было... Что долго жил с дедом в Норильске. Дед работал машинистом, бабка — стрелочницей, а вся поездная бригада — ээки. Рос на руках у ээков, которые в нем души не чаяли, поскольку где у ээков свои-то? Письма в лагеря редки, а в письмах — слезы.

«...Слово «ээки» у иных вызывает неприязнь, опасения, — завершал свою биографию-сочинение Юра. — А в нашей семье это слово порождает представление о честных добрых людях. Они, сам видел, люди не падшие, им надо верить. Порой они больше стоят, чем те, кто на свободе».

Юриных дружков зачислили в летную школу, а Юру, естественно, даже в чугуевский гарнизон не пустили. Сообщили открыткой: мол, мандатная комиссия считает невозможным...



Юра, ошарашенный, потерянный, вернувшись, побрел не домой, а к своей классной руководительнице Надежде Ивановне, рассказал, что произошло...

Надежда Ивановна заплакала. «Выходит,— сказала,— я тебя плохо учила, если ты решил, что можно говорить с кем угодно о чем угодно... Это я виновата. Вышел с открытой душой ...к собакам».

После того, где только Юра ни работал, видел — собаки вокруг. Бешеные псы. Шоферил на стройке: завгар записывал ему липовые ездки, а деньги — себе. Бензин заставлял сливать в канаву. «Не хочешь сливать — продавай...» В Москве вещи начальству возил на дачу. А писали — гравий... В другом месте — с зав. мастерскими не поделился, тот кулак к Юриному носу: «Убирайся к такой-то матери!..»

На Братскую, твердо решил Юра. Комсомольско-молодежная стройка. Больше некуда...

— Хотуль! — кричали со всех сторон самолетной кабины. — Рули к нам, Хотуль!

Юра привстал, чтобы увидеть Хотуля! Какой он? Оказалось, темнотлицый, мужиковатый, медлительный, с усмешкой. Ватник как у простого работяги. В незавязанной ушанке. Словно это не о нем писали в «Правде!» Сравнивали с былинным богатырем и еще с кем-то...

Хотулев остановился посредине кабины, высматривая свободное место.

— Хотуль! — кричали механики. — Уважь деревню Никитовку!

Хотулев кивнул засаленным кожухам и прошел дальше, к последнему ряду. Приглянулся ему там, видать, огненно-рыжий юнец с желудевыми и огромными, как пятаки, глазами. Вокруг было много озабоченных, пьяно-благодушных, пустых глаз. А эти — сияли как-то испуганно-встревоженно. Не то восторг в них, не то страх. Ожидание чуда, которого всегда ждут с холодком на спине... Энтузиаст, видать! Хотулев любил энтузиастов. И — жалел их.

— К нам? — утвердительно спросил он, пристегиваясь рядом с юнцом.

— Ага, на Братскую, — с готовностью отозвался тот. — Юрой зовут. Шоферу по белу свету.

Фамилия его была известной. Оказалось, сын летчика-испытателя. «Папин кусок застрял в горле, — объяснил Юра с нервной веселостью. — Слишком жирный...»

Хотулев взглянул на него сбоку. Рыжие волосы торчком. Ровно факел. Живет — горит. Бородашка реденькая, монгольская. Словно кто-то выпщипывал, да не дощипал. Лет двадцати семи парень. А все еще похож на гривастого, лет семнадцати, школяра. «Недощипанный-от, — с улыбочкой подумал Хотулев. — Эх, как бы тебя тут не дощипали!..»

— А чего в летчики не захотел? Как отец.

У Юры кровь от лица отхлынула. Даже губы посинели.

— Давайте выпьем! — воскликнул он торопливо. — У меня коньяк есть. «Ереван». Такого нигде не купишь...

Выпили по чайному стакану.

— За новую жизнь! — сказал Юра. — Всюду. Как у вас, на Братской...

— Оно, конечно, — не сразу согласился Хотулев. — Передний край коммунизма... Отец-от где?..

Пришло время привязаться ремнями, Юра пьяно хорохорился: «Что я, собака, привязываться буду...», — а тут сразу перестал отталкивать ремни, усталый в иллюминатор отрезвело.

С птичьего полета мир кажется аккуратным расчерченным и прибранным. Даже таежные болота — не такими уж страшными...

Хотулев корил себя за то, что спросил Юру об отце; не зря, правда, спросил, хотел понять, что за энтузиаст недоципанный. Может, пособить надо?.. Эх, да не к месту спросил...

Когда самолет начал опускаться к Братску и высоченные мачтовые сибирские лиственницы, за иллюминатором, кинулись зеленой волной навстречу, Юра едва не рассказал все, что, бывает, говорят лишь другу или случайному пассажиру, с которым больше не встретишься: что отец погиб. Разбился. Только газеты не писали. И все подробности...

Провел ладонью по мокрому лицу с силой, чтоб не выболтать того, что поклялся матери никому не говорить. Никогда. Что отец знал заранее — разобьется. Подошел к нему, Юре, утром, сказал: «Я нынче, может, задержусь. Надолго. Береги маму...» Потом уж друзья отца рассказывали: самолет был недоведенный. Ему еще рано было в воздух. Да приказ прибыл: начать облет к годовщине Октября.

Отец никому не стал поручать, хотя под его началом было двенадцать испытателей. Взлетел сам...

Мать твердила — ничего не докажешь. Только отшвырнут, как от летной школы. Вымолила обещание молчать. А дал слово — держись.

Самолет трянуло, Юру отбросило вбок, он даже не заметил этого. Глядя на расступавшиеся перед летным полем сосны, Юра произнес вдруг с остервенением, удивившим Хотулева:

— Тю!.. Собаки! Есть еще не загаженные места! По-нашему здесь будет! По-людски!.. Не так?!

Колеса ударились о землю, раз, еще раз, кто-то выматерился длинно. За ним другой.

— Ти-ха! — прикрикнул Хотулев, и разом притихли матерщинники, протрезвели...

Пассажиры, утомленные болтанкой, детским плачем, пьяными спорами, вывалили на сосновый воздух, навстречу мчались санитарные машины. Они подкатывали к трапу. Выгружали носилки с ранеными. Один выбрался из кабины чуть поодаль. Забелела его нога в гипсе. Раненого повели, поддерживая под локти, к самолету. Он скакал на одной ноге, другая — толстая, загипсованная — колыхалась на свежем ветру.

— Как на войне! — Юра посерьезнел. — Подвозят резервы. А на встречу перемолотые.

— А ты это откуда знаешь? — Хотулев усмехнулся как-то криво, одной щекой... Недослушав ответа, рванулся вдруг к раненому с загипсованной ногой, спросил его о чем-то.

Весь самолет утрамбовался в один старенький автобус. Сидели на деревянных чемоданах, на коленях знакомых. И все же несколько парней не протолкнулись. Шофер, молодой парнишка со шрамом во всю щеку, тряхнул автобус, как мешок. Все попадали друг на друга, скрючились стиснуто у задних сидений — теперь влезли и оставшиеся.

— Чем орать, — огрызнулся он миролюбиво, огибая санитарные машины, которые все прибывали, — лучше подсчитайте процент вашей неосознанности. Еще восемь влезло. Им что тут, зимовать?!

Юра стоял, жарко сплюснутый парнями в ватных стеганках. Стеганки зеленые, серые, черные. В извести, бетоне. Продранные. С торчащими клочьями ваты. Стеганки хороших людей. Эзков, которые его нянчили вместо отца... Он заранее любил этих ребят, небритых, веселых, бранящихся на ухабах, когда автобус звенел, как брошенный чайник. От них разило сивухой, как и от тех эзков, когда они, бывало, отправлялись с дедом из Норильска в Дудинку, по рельсам, над которыми смыкалась болотная жижа.

«Живем!»

Настроение у Юры стало праздничным. «Живе-о-ом!»

— Знаете, какой я везучий?! — одушевленно сказал он Хотулеву. — Когда родился, голод был. К нам бандиты забрались, все выскребли, а хату подожгли, подперев снаружи дверь. Мать выбила окно и со мной на руках выскочила... А тетка ее сгорела... Все говорят, я — везучий! Везучий!!

Автобус затормозил у крутого обрыва, возле нарядного домика, редкой на Руси нелиняло-небесной краски. Шофер затолкался к выходу, за папиросами, и пассажиры — за ним, поразмяться, вздохнуть волгоотно. Подошли к обрыву, к самому краю, и замерли, ошеломленные...

Справа ревели знаменитые падунские пороги. Скоро, говорили, они уйдут под воду. Пока еще они чернели гигантскими стесанными зубьями, готовыми перемолоть все, что ринется на них. Ангара кидалась на них волна за волной, бушевала, кипела, а они торчали каменным завалом, похожим на линию обороны. Вечными темными дотами, стерегущими тайгу...

А с левой руки подымалась к белесому небу серая громада плотины, обезличенно-мертвая, плоская, как надгробие над Ангарой...

«Странно», — мелькнуло у Юры. Человеческое, живое казалось мертвым, а мертвые скалистые пороги — чем-то живым, вечным, крики — откликнутся...

Посередине серого надгробия кипел, где-то внизу, водосброс. Ангара в игольное ушко пропускали... Она закручивалась тут пенным жгу-

том, слепящим на солнце, несла стоймя унесенные откуда-то лодки-долбенки, столбы, железные бочки, выстреливая их с водосброса, как из катапульты. Она была прекрасна, Ангара, в своей ярости и в своей беспомощности: и долбенки, и бочки, и столбы с засмоленными концами — весь мусор человеческий не выстреливался прочь, а рушился вниз со страшной высоты, вместе с пеной и гневным ревом...

Было чуть-чуть страшно, и от этой самолетной высоты, и от величия беззвучной, заглушенной ревом Ангары стройки. Кино не кино, жизнь не жизнь. Сказка...

— Что уставились? — крикнул шофер, бегущий от неправдоподобно голубого домика. — Вы что, иностранцы?! Это место для интуристов!.. Отсюда они социализм снимают-понимают, — добавил он добродушно, усаживаясь за руль. — Все, что ль, на месте?.. Значит, первая остановка гостиница города Братска. Название: «Придешь незванный, уйдешь драгый!» Есть желающие?

Никита Хотулев, наклонясь к Юре, шепнул, что если не устроится на ночь, чтоб двигал к рабочему общежитию, сказал бабке-коменданту, мол, Хотуль прислал. Слыхал?!

— Тю! — Юра уверенно мотнул головой. — Приткнусь куда-нибудь...

В двухэтажном деревянном бараке-гостинице, возле которой Юра выпрыгнул из автобуса, мест не было.

— И не будет! — обнадежила старуха, скребущая пол, на котором валялись консервные банки. Ты кто, рыжий? Шофер? — В ее голосе звучало некоторое уважение. — Иди, малый, в партком стройки, там записки дают, у кого дефицитная профессия. Сунут куда-нибудь.

Юра взвалил чемодан на плечо и отправился в дальний барак, на который старуха показала щеткой.

У дверей парткома маялась длиннющая очередь; кто-то закусывал, разложив на коленях крутые яйца, соль, черный хлеб, женщина кормила грудью ребенка; двое грузин играли в нарды. Юра пристроился последним, после того как девушка-секретарь сказала, что шоферский лимит кончился.

Юра попал в кабинет лишь под вечер. За столом измученно, горбясь, сидел незнакомый человек в измятом костюме. Третий за день. Сменщик. Он был похож на учителя в конце уроков, осатанелого от крикливой и неумной детской ненависти. Круглое серое лицо его было обращено в пустой угол. На вошедшего не глядел. Юра начал говорить, сбиваясь, что прибыл по комсомольской путевке, выложил документы, а тот все смотрел пустыми глазами в пустой угол.

— Ложь мне надоела! — выкрикнул Юра, решив, что его не слушают. — За честность ныне по башке бьют!.. Вот и решил к вам. На свежий воздух.

И тут только пустые глаза обрели осмысленное выражение. В них промелькнули любопытство, почти участие.

— Бьют, говоришь? По башке?.. За честность...— И протянул вдруг по-сибирски, умудренно, совсем как Хотулев: — Быва-ат, быват!.. Сам-то откуда?

Но ответить Юре не пришлось. В кабинет ворвалась молоденькая девчушка с ревущим ребенком на руках. Хлебнула, видать, горюшка! Лицо — точно известкой присыпано. Ни кровинки. Ключицы выпирают. Длинная деревенская юбка затянута флотским ремнем, иначе не удержится на худобе. Юра видел таких только в Норильске. В лагере. Мать называла их доходягами и, когда гнали мимо дома колонну доходят, мать бросала им под ноги хлеб и картошку. Однажды ее чуть не застрелили за это. Огрели прикладом, бабка кровоподтек отмачивала. А когда другую колонну повели, сама вышла с чугунком картошки.

— Извели, — сказала девчушка напряженным глухим шепотом, полным голого страшного отчаяния. — Извиняйте что не так!

И положила на канцелярский стол ребенка. Аккуратненько положила. Подальше от чернильниц. Провела рукой по ножкам, не оголились ли, пока несла. И тут же бросилась назад, закрыв измученное лицо руками. Лишь выскочив из кабинета, заголосила, как голоса русские бабы над покойником. Навзрыд.

А они остались сидеть недвижимо. По одну сторону парткомовский с Юриной комсомольской путевкой в руке. По другую Юра, потерявший дар речи.

Но самое непостижимое (Юре показалось — во сне это): парткомовский продолжал листать Юрины документы, словно ничего не случилось. И бровью не повел. Словно не лежал между ними, на канцелярском столе, бледный улыбающийся подкидыш, почмокивающий во сне. И не голосила девчонка на улице, где проносились, сотрясая барак, грузовики.

От вскрика матери, что ли, захныкал во сне ребенок, засучил туго запеленутыми ножками.

— Скоро к нам гиганты-самосвалы придут, — деловито начал парткомовский. — Опыт есть? Пристроим... А пока пороби на бетоне. Пойдет? — И тут только поднял глаза на Юру. И так смотрел оцепенело несколько секунд, словно Юрино выражение лица и было самым неожиданным из того, что здесь произошло.

— Проститутки! — наконец выдавил он из себя. — Видал, что делаю, суки! Нарожали на нашу голову...

Юра ошеломленно молчал, и тот взялся за телефон, сказал кому-то в досаде, чтоб прислала за очередным.

— Слышишь, орет? Давай, а то срывает всю партработу.

Юра не помнил, как выбрался на улицу. В ушах все еще стоял детский рев. Попытался найти девчушку, только что голосившую под окнами. Девчонки шли гуртом. В брезентовых робах, висевших на них кулем, в резиновых сапогах. Некоторые такие же белые. От извести, что ли? Но той не было...

Солнце зависло над ночной тайгой раскаленным прутот. Как болванка в горне, в шипцах кузнеца. Вдали грохотало, словно и впрямь отковывал где-то молотобоец новый день...

Юра сел на чемодан, обхватил руками голову. Не хотелось никого видеть. Идти? Куда идти?..

Продрогнув, поднялся, водрузил чемодан на плечо, поплелся к рабочему общежитию. Слова «Хотуль прислал» оказались верней записки.

— Ложись на любую! — Громкоголосая, на раздутых от водянки ногах, комендантша отомкнула комнату, заставленную железными кроватями с серыми солдатскими одеялами. — До пяти все на бетоне. Отоспишься, а там Хотуль заглянет, разберемся... Да говорю — на любую: тут хворых нет. Хворые на погосте.

Заснуть Юра не мог. Где-то надрывался младенец — ему слышался младенец на канцелярском столе... Натянув отцовские резиновые сапоги, подвернув их, чтоб не было видно, что охотничьи, для отдыха, отправился в котлован на поиски Хотулева. Мимо ревели «МАЗы» с буйволами на радиаторах. Повороты таежные, крутые, раствор выплескивался через борта, шоферы материли Юру, жавшегося к кювету; когда добрел до котлована, он был в бетонной жиже с головы до ног.

— Эй, леший! — кричал кто-то весело. — Лазь к нам, у нас работа чистая!.. — Послышался негромкий, вразнобой, девичий хохот.

Юра вгляделся. Неподалеку рыли траншею. Человек двадцать девчат и трое парней во флотских брюках, заправленных в сапоги. Траншея была глубокой, вровень с плечами. Только лица виднелись над землей, да мелькали лопаты.

— В старину неверных жен закапывали так, по шею, а вас за что? — шутило, в тон, ответил Юра, скользнув взглядом по девичьим лицам. И от неожиданности даже с ноги на ногу переступил. Глазам не поверил. Посередине траншеи работала та, белолицая, с ввалившимися щеками, лет восемнадцати девчушка, не больше. В длинной и широкой деревенской юбке, подпоясанной флотским ремнем. Юра шагнул к ней, но — остановился: зачем беречь?.. Мало ей вчерашнего?!

— Платить будете? — спросил хрипловато, чтоб хоть что-то сказать.

— Будем! Будем! — раздалось в ответ несколько девичьих голосов.

Девчата захохотали — все ж отдых. Только одна не улыбнулась, маленькая, белолицая, подпоясанная матросским ремнем. Даже кидать лопатой не перестала. Да силы, видно, кончились — не добросила доверху, и сырая земля посыпалась обратно.

Юра протолкался вдоль траншеи, взял у нее лопату.

— Передохни, белянка!..

Он махал совковой лопатой, наверное, час, не меньше, соскучившись по движению, по работе. Сквозь стенки траншеи просачивалась вода, за ворот падали липкие комки.

— Перекур, девки! — кричал бригадир сиплым голосом.

Девчата развернули бумажные пакетики, достали бутерброды с салом, консервы из китового мяса, разделили всем поровну.

— Кому махры? — спросил, повысив голос, бригадир. — Кому, говорю, махры?

Юра опустил на землю рядом с белолицей. Когда он забрал у нее лопату, она тут же выбралась наверх, натаскала хворосту для костра, а сейчас тащила обугленный артельный чайник. Девчонки так измучились, что не стали выбираться наверх. Ели в траншее.

— И впрямь, как солдаты, — удивленно-весело сказал Юра. — В окопах.

Белолицая не ответила, лишь взглянула на него холодно и горестно.

— Как вас звать? — спросил Юра неуверенно. — Давно вы тут, Стеша?.. Давно?

Она только головой мотнула.

— А... откуда?

Стеша молчала, вроде кильку дожевывала, потом пересилила себя — все ж помог человек — вздохнула:

— О-ох, не доехать туда, не доплыть! Тысячи две километров, не мене.

— А я московский! — заторопился Юра, боясь, что разговор угаснет.

— С самой Москвы? — откликнулась тоненькая в лифчике. — Земля<sup>1</sup>, значит!

На нее зашикали, в чужой разговор не встревай!

— Из-под Москвы я. Город Жуковский. Слыхали, Стеша? Самолеты там испытывают.

— Под ревом, значит, жили, — сочувственно вздохнула Стеша. — Последнее дело!.. А приехал почто? От грохота? Иль бросил каку? С ребяенком? Да подале?..

Юра даже руками всплеснул. Боже упаси! Огляделся вокруг, не слушают ли, признался вполголоса:

— Меня бросили.

— Иди ты?! — Такое изумление появилось в круглых детских глазах Стеши, что Юра, понизив голос до шепота, рассказал, как его увозили в армию, а любовь сказала, что ждать не будет. И точно, не ждала.

Стеша поглядела куда-то вдоль траншеи, в глазах ее была все та же горечь.

— Не любила, значит.

Юра протестующе взмахнул рукой:

— Нет-нет, обожглась на одном! Уехал и — писать перестал. Разуверилась. Вот как! Любят, а бросают?

---

<sup>1</sup> Земляк (прост.)

Сказал, и понял — сморозил... Стеша прижала худющие пальцы к лицу, как вчера, в парткоме, и кинулась вдоль траншеи, стараясь не всхлипывать; выскочив наверх, заголосила с такой тоской, что все оглянулись в его сторону враждебно.

— Ты чего? — Парень в брезентовой накидке быстро подошел к нему. — Обидел?

Юра неуверенно затряс головой.

— Беда! — Парень вытащил кисет, затянулся зло. — Ясель, понимаешь, нет. С ребенком — гибель. Без ребенка — гибель...

— Как, нет?! Не строят? — зачем-то шепотом спросил Юра. — Почему?

— Никто понять не может! Какая-то напасть!.. Медведь, и тот ребенка не тронет. А тут, понимаешь, такое. Родила — пропадай...

Полил дождь, все кинулись под брезент, а когда выглянули, увидели, что работа насмарку. Талая мерзлота оплыла, стенка рухнула, траншею словно и не копали.

Обступили траншею, опустив руки, как свежую могилу. Молча...

Девчата двинулись к общежитию, а Юра, с трудом волоча облепленные землей сапоги, начал спускаться в котлован, к Хотулеву.

Тут мы с ним и встретились, правда, позднее.

Я приехал в котлован на «такси», или на «воронке». Так назывались здесь грузовики с обшитыми фанерой глухими кузовами. «Такси-воронки» доставляли рабочих из деревянного Братска в котлован, в часы «пик» их брали с боя. Как и автобусы. Я уже решил было остаться, но несколько парней, услышав, что ищу Хотуля, кинули меня за ноги, за руки в кузов, и я, таранив кого-то головой, приткнулся возле липкого, в глине и растворе, дребезжащего борта.

Никита Хотулев отнесся ко мне как к неизбежному злу. И без того забот хватает!

— Давно вы тут? — спросил я, чтобы хоть как-то начать разговор.

— Всю жизнь, — ответил он спокойно, усаживаясь на обломок валуна и доставая кисет с самосадам.

— Местный, значит?

— Местный. По тайге возят. С малолетства... Кольский полуостров, слышали? Туломскую ГЭС строил, под скалой. А до этого... — Он взмахнул заскорузлой крестьянской рукой: мол, что рассказывать, таких, как он, что песку речного... — Заметив, что я достал карандаш, разъяснил нетерпеливо: — Из пленных я. У Гитлера сидел три года. После... за то, что выжил, на Кольский повезли. Под конвоем. Дробил скалу... — Взглянул на меня искоса: годится рассказ или хватит?.. Добавил не сразу, усмехливо: — Прячь-от карандаш, на этом месте все прячут... — Слепил языком самокрутку длиной в трубу, продолжил неторопливо: — После вызвал-от меня начальник режима. Хочешь строить Братскую ГЭС, спрашивает. Земля, говорит, там помягче, режим полегче... Ежели поедешь, разрешим вызвать бабу из деревни. Литер выпьем... Господи, у меня



ком к горлу! С сорок первого жену не видал... Вызвал женку, всплакнули. Поехали в пассажирском. Как люди. Воля!.. Здесь, значит, вырыли землянку. Как кроты. Зажили!..

Подбежал огненно-рыжий паренек в летных крагах и остановился чуть поодаль, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. Хотулев сам повернулся к нему:

— Ты чего, Юра?

— Стоим второй час! — прокричал он, словно Хотулев был где-то на горе. — Пробка. Самосвалы, вон, на километр вытянулись... Крановщик заснул, что ли?

Хотулев извинился и заспешил в прорабскую. Паренек двинулся за ним, но я остановил его:

— Юра! Вы у Хотулева работаете?.. Он ваш бригадир?

— Не, я в автоколонне.

— Вам, значит, он кто? Заказчик?

— Батя! — воскликнул Юра. Снял летные краги, сунул их под мышку в раздумье, сказал очень серьезно, понизив голос: — Не он, я бы тут не выжил... Нет!

Тяжело поднимая ноги в резиновых сапогах, приблизился Хотулев, сплюнул досадливо.

— Юр! — сказал просительно. — Сигнализация не работает. Слазь наверх, будь ласка!.. Может, с крановщиком стряслось что?..

— Духовитый парень, — сказал он уважительно, когда Юра убежал.

Юра вернулся не скоро. По его рту, широко открытому в немом крике, я понял, что произошло нечто необычное.

— Они там... — Юра не мог отдышаться. — Там девчонка у него! Они... они любовью занимаются (он высказался определеннее).

Мы все задрали головы и посмотрели на белесое сибирское небо, где солнечно, до рези в глазах, сияла кабина, которая, казалось, вот-вот сорвется, как воздушный шар, улетит вместе с облаком.

Там, под облаком, оказывается, клубилась любовь, и десятитонные самосвалы с раствором сопровождали ее ревом клаксонов. Никогда еще государство не платило за любовь так дорого...

— Он что, спятил? — вырвалось у меня.

— Это не он спятил! — приглушенно сказал Никита Хотулев и двинулся по деревянному трапу на плотину. Широкий трап, в песке и окаменелом растворе, закрутил нас, как горная дорога. Наконец, мы достигли рельсов, по которым взад-вперед ходил высоченный, как телевизионная башня, порталный кран. — Смотрите сами! — Хотулев показал вниз на толпище огромных самосвалов.

— ...В Москве-от решили, много крановщики получают. Разжирили!.. А ну, перевести их со сдельщины на повременку!.. Теперь, сам видишь, крановщик бетон кладет, девчонку е... — один хрен. Деньги одинаковые... Да что краны? Дороги-от корытом. Весной больше стоим, чем работаем: потоп, А виновных не сыщешь. К кому не ходил?! Где не шу-

мел!.. Живешь, как связанный. Болезнь заработал городскую. Как ее? Хи-пертония...

Мы начали спускаться вниз, и в эту минуту раздался страшный звериный крик: кто-то сорвался со строительных лесов. Звука упавшего тела не было слышно.

Хотулев выматерился, сложил ладони рупором:

— Чей?!

Снизу прокричали:

— Не из нашей!

Хотулев проворно, перескакивая через планки, сбежал по трапу. Потолковав с кем-то, стоявшим над бездной с топориком, он обернулся ко мне:

— Нынче что!.. Уголовников поменьшалось. А раньше, чуть что, спор, драка, глядишь, кого-то столкнули с подмостей... А лететь-то высоко. Знаете сколько в плотине людей замуровано?! Столкнул бедолагу, сверху раствором присыплет, вибратором уплотнит и — все! Секундное дело... Спи спокойно, дорогой товарищ!.. Ежели б плотину можно было рентгеном просветить! Сколько вкраплено мужика, для прочности!

Я оглядел снизу могучее серое, головокружительно-гордое тело плотины, веря слышанному и не веря...

Нет, с меня было довольно. Я позвонил управляющему строительством Братской ГЭС Наймушину и попросил его принять меня.

— Мы писателям всегда рады, — добродушно-снисходительно начал он, но тут же, может быть, не уловив в моем тоне ответного благодушия, попросил извинения.

— Писателей у нас принимает Гиндин, главный инженер строительства. Это наш мозговой центр, — ободрил он меня. — Он даст вам исчерпывающие ответы...

Гиндин, крупный, упитанно-свежий, похожий на дачника, в белом костюме занимающего на веранде гостей, охотно рассказывал, какие тут грандиозные возможности для писателя: плотина уникальная, насыпи уникальные, плотину ставят на скалу из диабазы, все — эксперимент, все — творчество... — Он сыпал и сыпал техническими подробностями, просив особо упомянуть про внедренное ими впервые. «Этого нет даже в Штатах, на Великих озерах!»

Увидев, что я перестал записывать, он спросил улыбочиво, с прежней предупредительностью, что именно меня интересует.

— Видите ли, — с трудом начал я, почти обвороченный любезной готовностью самого известного в России гидростроителя, который, извинившись перед инженерами, ждущими в приемной, уделил мне столько времени. — Видите ли, меня интересует вот что... На Братской ГЭС тридцать тысяч рабочих. Текучесть — десять тысяч в год. За год убегает треть...

Что-то вдруг произошло с барственно-холерным интеллигентным лицом Гиндина. Я не сразу понял, в чем дело. Остались вроде и преду-

предительная улыбка, и мгновенная понятливость, но они словно бы застыли. Так застывает улыбка на лице танцора, выскочившего к зрителям. Безответно-сияющая, балетная, мертвая, она лучится, как бы ни вел себя зритель.

— С другой стороны, — я заставляю себя продолжать, чувствуя, что становлюсь неучтивым, — на вашем строительстве не хватает десяти тысяч ясельных мест. Десять тысяч ясельных мест — это по крайней мере десять тысяч постоянных рабочих: матери, пристроившие своих детей, никуда не уедут. А от вас, главное, ничего не требуется: две трети ваших рабочих — плотники. Лес дармовой. Тайга. Только кликнуть, ребята-плотники возведут ясли для своих девчат в неурочное время. Задаю... — Я обстоятельно пересказываю все, что в отчаянии выкрикивал Юра и что оказалось точным: я навел справки. Все, что видел сам или услышал от Хотулева, которого не надо было проверять.

В ответ — все та же оцепенелая балетная улыбка. Ни слова. Только застучали по письменному столу белые холеные пальцы. Лишь когда я сказал, что за пять дней, проведенных мной в котловане, разбилось на смерть пять человек, на тучном лице главного инженера появилось на какое-то мгновение нечто вроде нетерпения.

— Ну, вам просто не повезло, — благодушно отпарировал он, не расставаясь с улыбкой. — Это случается не каждый день... — И тут же, словно кто-то подстроил, зазвонил телефон, и возбужденный голос прокричал в трубке, что в Коршунихе убило электрика.

Я вышел из кабинета главного инженера под вечер. У деревянных домов разгружались «такси-воронки»; их встречали выбежавшие из домов дети, жены, спрашивали тревожно:

— Моего видели?.. Как там?..

— Нормально, — басовито-устало отвечали ребята в робах, серых от цементной пыли. — Что твоему сделается, брюхану!.. Жив, однако...

До отлета оставалась ночь. Ледяная прозрачная ночь. Спать я больше не мог. Постучал к Хотулеву. Его не было. Вызвали в котлован: опять что-то стряслось.

Я свернул к рабочему общежитию, к флотским. Сам был флотским, найду с ними общий язык. В дощатой комнате никого не было. На одной из коек валялись ватник, полотенце. Решил подождать.

Присел у стола, накрытого липкой клеенкой, на которую кинули буханку хлеба, ржавую селедку в газетной бумаге со стереотипной «шапкой»: «На переднем крае коммунизма...», гору консервных банок. Килька, китовые консервы. И вдруг расслышал за дощатой стеной умоляющий мужской голос. Неустоявшийся голос, то высокий, как у подростка, то вдруг басистый.

Где его слышал?

— Степ! Сама видишь, как живем. Что в кессоне. Под давлением, уши от вранья закладывает. Я из-за чьей-то лжи в воздух не поднялся, рассказывал тебе? Отец из-за чьей-то лжи — в землю врезался... Даже

отец ничего не мог сдвинуть. Только честно погибнуть... И Хотуль не может... А? Хотуль?! Значит, что? Надо жить своим домиком. Как улитки... Чтобы хоть в твоём домике было все по-честному. По-людски... Я на двоих зарабатываю? Тю! Запросто! Ты забереешь сынка, будешь с ним... Тю! Да сваришь мне, Стеша, похозияствуешь... Я что? Я ведь не навязываюсь! Я просто видеть не могу, как ты убиваешься. Хочешь, побожусь?.. Ведь это страшной не придумаешь — из-за голодухи сынка оставить!.. Ну, бери взаймы, отдашь мне когда-нибудь...

За стенкой послышалось приглушенное всхлипывание, и дрожащий женский, почти детский голос, исполненный горечи и отчаянной решимости:

— Что я, увечная или бесстыдная какая, на шею мужику садиться? Заработаю на дорогу, заберу кровинушку, никто его не отымет. Извиняйте меня, Юрий, если что не так!

— Стеша! — всплеснулось тоскливое. — Разве ж ты не из-за меня бе-  
дуешь?..

Я быстро поднялся и вышел, стараясь не скрипеть половицами.

Сел у входа на серый гранитный валун, ежась на ангарском ветру. Где-то шумели Падунские пороги.

Я сидел, цепenea на ветру, пока не услышал чьи-то шаги. Поднял глаза. В дверях нервно потягивал окуроч пунцовый Юра в вязаной лыжной шапочке. На ремне кроличья лапка — ножны для охотничьего ножа. Красная, вызывающе пестрая рубашка завязана на животе узлом. Живот голый. По-модному. «Мальчишка, — раздраженно мелькнуло у меня. — Что натворил?»

— Юра! — окликнул я его, когда он, отшвырнув окуроч, собрался уходить. — Скажи честно. Или вовсе не говори. Почему бедует Стеша? Я опасался, он пошлет меня матерком. И будет прав...

Юра поднял на меня полные тоски глаза и сказал. Не сказал — выдохнул:

— Из-за меня!

Я молчал, и он присел подле на валун, ежась на ветру, как и я.

— Понимаете, какое дело!.. Каждый год прикатывают сюда тысячу пять-шесть матросов. Со своими старшинами, песнями, привычкой жить сурово... Рады, вырвались на волю... Их на полгода раньше отпускают, кто на Братскую вербуются. С другой стороны, такие, как я, прилетают. Идиоты... Тоже тысячу пять, не менее. На Руси дураков не сеют, не жнут, сами рождаются... Заполняют окопы на «переднем крае коммунизма...» Верите, газеты перестал брать в руки. Ровно они отравленные... Зачем тут, скажите, Гиндину девки? Ясли-школы? Морока... Нарожали — вон. А нет — подыхайте!.. У того, небось, своих забот — полон рот...

...За час до отлета я заглянул в Братский горком партии. Отметить командировку. Задать несколько бесполезных вопросов. Меня принял второй секретарь горкома, лет тридцати, подтянутый, худющий, с желтым малярийным лицом, похожий на демобилизованного по болезни

офицера. Он знал все, о чем я ему говорил, знал, наверное, куда более. Прервал меня, вертя в руке карандаш.

— Я тут ноль без палочки. Распоряжаюсь наглядной агитацией. Видали, белыми камушками выложено: «Слава строителям Братской ГЭС...» Это моя работа. А в остальном... Стройка всесоюзного значения. Министру подчиняется да ЦК партии Генеральному... Секретарь обкома из Иркутска, и тот здесь лишь почетный гость. — И вдруг сжал кулак так, что сломался карандаш. — Сил нет! Уйду в лагерь! К уголовникам! Замполитом или кем возьмут. Там порядок, точность... А тут?!. Звонил вчера. Берут в лагерь, если Братск отпустит.

На аэродром меня поехал провожать помощник секретаря, бело-брысый, щербатый вологодский парень, студент-заочник библиотечного института. На прощание я взял в буфете аэродрома бутылку сибирской «Облепихи». Закуски не было. Те же китовые консервы.

— Послали меня как-то Наймушину помогать, — заокзал помощник, когда мы с ним чокнулись по второй, и я спросил, почему в Братск везут только кита в собственном соку. — Делегацию, значит, принимал Наймушин. Не чинясь, сам полез в погреб... Он в коттедже живет, на Дворянской, знаете? Ну, на будущей набережной. Построили там коттеджи для детсадов, а заняты сами... Махнул мне, значит, Наймушин рукой, давай! Я — за ним. Глянул в погреб, обомлел. По стенам — окорока, коровья туша, баночки икры, ящики апельсинов. Наймушин ящик мне подал, подмигнул снизу: — Сводим кое-как концы с концами, а?

К нашему столу подсел эвенок, низкорослый, светливый, в курточке из протертой оленьей кожи, малицу перешил, что ли? Покосился красными большими глазами на бутылку. Я принес еще одну, разговор стал приятельским:

— Дела, — бормотал красноглазый эвенок. Он налил «Облепиху» в тарелку, макал в «Облепиху» хлеб и сосал набухшие ломти, суматошно бормоча: — Дела! Самолетка есть, погодака нет. Погодка есть, самолетка нет. Погодка есть, самолетка есть, билетка нет. Второй неделя жду, больной мать везу...

Послышался гул, видно, летел наш самолет из Иркутска, и беловолосый помощник, то ли от стакана «Облепихи», то ли от откровенной беседы, произнес вдруг слова, которые я вряд ли когда-либо забуду.

— Хотите все понять? До корня?.. Наймушин и Гиндин всю жизнь строили гигантские электростанции. В Сибири, в Средней Азии. И всю жизнь — руками заключенных. Теперь вместо НКВД шлют рабочих ЦК ВЛКСМ, Тихоокеанский флот, конторы по найму... Наймушину что НКВД, что ВЛКСМ... Буквы другие. А отношение к рабсиле привычное. Как на пересылке. Не люди. Ээки...

Самолет прошел мимо, гул затих. Предвещание эвенка оправдалось: «Погодка есть, самолетка нет».

Я вернулся назад, в гостиницу. Оставив там вещи, отправился в рабочее общежитие. Мимо меня бежали к Ангаре ребята. За ними двое

девчат. Ватники распахнуты. Лица тревожные. Я повернул вслед за ними.

Утонул человек. Очевидцы, перебивая друг друга, рассказывали. Парень какой-то вошел в ледяную воду, не раздеваясь, как раз там, где начинает крутить. Его повертело, понесло к водосбросу и швырнуло со стометровой высоты. Спасательный катер, внизу, тут же рванулся в киль, повертелся в белом водовороте. Не достал. Тело выкинуло на берег лишь через час. Ангара шутить не любит...

Самоубийца лежал у воды, накрытый с головой брезентом. Кто-то отвернул край брезента. Я задохнулся словно меня ударили в солнечное сплетение: рыжие волосы Ангара слепила косичками. Только по волосам я его и узнал: лицо было ободрано, видно, Юру проволочило по камням, по скалистым диабазовым камням, на которых теперь стоит, на гордость человечеству, Братская ГЭС.

## СОДЕРЖАНИЕ

Лёва Сойферт, друг народа...	6
Башкирский мед	18
Братская ГЭС	30

В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»  
ИЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:  
(№№ 1—40, 1990 г.)

- № 1 Д. КУТУЛЬТИНОВ. В тени дерева бо.
- № 2 С. ЛЕСНЕВСКИЙ. Голубые врата.
- № 3 Ю. КОВАЛЬ. Когда-то я скотину пас.
- № 4 А. ЧЕРНОВ. Скорбный остров Гоноропуло.
- № 5 Б. САРНОВ. Феномен Сталина.
- № 6 Б. ПАСТЕРНАК. Из писем разных лет.
- № 7 Г. КУЛИКОВСКАЯ. Правда о профессоре Юдине.
- № 8 А. КУШНЕР. Флейтист.
- № 9 М. УСПЕНСКИЙ. Из записок Семена Корябеды.
- № 10 М. ДЕМЕНТЬЕВА. Непридуманнные истории про театр и кино.
- № 11 А. ВОЛОДИН. Одноместный трамвай.
- № 12 И. ЛИСНЯНСКАЯ. Воздушный пласт.
- № 13 С. ЮДИН. Подарок ко дню рождения.
- № 14 В. ВОЙНОВИЧ. Нулевое решение.
- № 15 Л. УВАРОВА. Одинокий с собакой снимет комнату.
- № 16 А. ПЛАТОНОВ. Деревянное растение.
- № 17 Л. ЛАЗАРЕВ. То, что запомнилось... (О Викторе Некрасове и Андрее Тарковском).
- № 18 Х. АЛИМДЖАН. Когда цветет урюк.
- № 19 М. КОРЧАГИН. Обжалованию не подлежит...
- № 20 НЭНСИ. Научно-фантастические рассказы американских писателей.
- № 21 Н. НОВИКОВ. Не спеша оглянулся...
- № 22 ЧУВСТВО ОТВОЕВАННОЙ СВОБОДЫ. Три разговора об искусстве (Н. Петров, Н. Каретников, А. Гаврилов).
- № 23 Н. ЭЙДЕЛЬМАН. Оттуда.
- № 24 О. БЕРГТОЛЬЦ. Эхо.
- № 25 А. БОЛОТИН. Кто нам ломает крылья.
- № 26 Б. ХАЗАНОВ. Страх.
- № 27 О. ВИШНЯ, В. ЧЕЧВЯНСКИЙ. Ответственность момента.
- № 28 С. РАССАДИН. После потопа.
- № 29 Ю. ДАВЫДОВ. Тайная лига.
- № 30 К. БАРЫКИН. ...И хлеба — на копейку.
- № 31 Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. Возвращение.



- № 32 П. КАПИЦА. О науке и власти.
- № 33 В. НЕКРАСОВ. Три встречи.
- № 34 К. БУЛЫЧЕВ. Апология.
- № 35 А. ЕРЕМЕНКО. Добавление к сопромату.
- № 36 И. КЛЯМКИН. Трудный спуск с зияющих высот.
- № 37 С. ЧУПРИНИН. Ситуация.
- № 38 Г. ПЛИСЕЦКИЙ. Пригород.
- № 39 М. БУЛГАКОВ. Под пятой.
- № 40 В. ТУРБИН. Прощай, эпос?

СВИРСКИЙ Григорий Цезаревич

БАШКИРСКИЙ МЕД

*Рассказы*

Составитель Б. М. Сарнов

Редактор Т. А. Воронина

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

---

Сдано в набор 27.08.90. Подписано к печати 28.09.90. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,11. Тираж 150 000 экз. Заказ № 2677. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ВЛАДЕЛЬЦАМ СТРОЕНИИ**

**Государственное обязательное страхование строений** (в размере 40% их стоимости) производится на случай наступления таких событий, как пожар, авария, взрыв, ливень, удар молнии, град, обвал, оползень, паводок, сель, выход подпочвенных вод, необычные для данной местности продолжительные дожди и обильные снегопады, авария отопительной системы, водопроводной и канализационной сетей, а также когда для прекращения распространения пожара или в связи с внезапной угрозой стихийного бедствия необходимо разобрать строения или перенести их на другое место.

**Дополнительно к обязательному** проводится добровольное страхование строений, что позволяет их владельцу получить страховое возмещение в более полном объеме (до 100% исходя из действующих государственных розничных цен). Кроме того, возмещение выплачивается при уничтожении или повреждении строений в результате просадки грунта, смерча, лавины, наезда транспортных средств, аварии систем и устройств водо- и теплоснабжения, падения камней, деревьев и летательных аппаратов (самолетов и др.), преднамеренных неправомерных действий третьих лиц.

**С 1 января 1990 года постоянным страхователям,** заключавшим договоры добровольного страхования строений в течение пяти и более лет без перерыва и за это время не получавшим страхового возмещения, предоставляется скидка в размере 20% от суммы платежа.

**Подробнее ознакомиться с условиями и заключить** договор можно в инспекции государственного страхования или у агента, обслуживающего Ваше предприятие, организацию или учреждение. Страхового агента можно пригласить на дом.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СССР.  
ПРАВЛЕНИЕ.**